

Б.М.ШУБИН



ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
• БОЛЕЗНИ •





Пушкинский кабинет ИРЛИ

6

Б.М.ЛЮБИН



ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
• БОЛЕЗНИ •



Издательство
ВТЯНЦЕ
Москва

1983



ББК 83.3Р
Ш 93

Автор предисловия Н. Н. БЛОХИН, академик, президент АМН СССР.

Рецензенты: В. И. Коровин, доктор филологических наук;
А. М. Тархов, кандидат филологических наук.

Шубин Б. М.

Ш 93 История одной болезни. — М.: Знание, 1983. —
128 с. + 24 с. вкл.
45 к. 100000 экз.

В центре документально-художественных очерков, составляющих книгу, — ранение, болезнь и смерть А. С. Пушкина.

В книге обрисована обстановка в России времен А. С. Пушкина, даны портреты врачей, которым выпало на долю облегчить страдания умирающего поэта; показан уровень развития хирургии в первой половине XIX века.

Автор — хирург, доктор медицинских наук не впервые выступает с литературным произведением — его книга «Доктор А. П. Чехов» выдержала за короткое время несколько изданий.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Ш 4603010100—134 13—83
073(02)—83

ББК 83.3Р
Р

© Издательство «Знание», 1983 г.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне доставляет большое удовольствие написать несколько вводных строк и представить читателям книгу Б. М. Шубина «История одной болезни», посвященную А. С. Пушкину.

История ранения и гибели великого поэта всегда глубоко интересовала наш народ; немало врачей изучало материалы, которые могут помочь получить ответы на все вопросы, связанные с болезнью и смертью поэта.

Неизменно поднимаются вопросы: можно ли было спасти Пушкина? Все ли было сделано для его спасения наблюдавшими его врачами? При этом некоторые авторы, писавшие о болезни и смерти Пушкина, были склонны обвинить лечивших его врачей и особенно лейб-медика Н. Арндта в бездействии, а может быть, даже в содействии его гибели.

Эти обвинения по существу связаны с недостаточным знанием истории медицины и возможностей хирургии первой половины прошлого века.

Врачи, лечившие Пушкина, ничем не уронили достоинства своей профессии, и не их вина, что медицина, и в частности хирургия, того времени не располагала теми возможностями, которые мы имеем в наши дни.

Книга Б. М. Шубина дает объективную оценку деятельности врачей, лечивших А. С. Пушкина. Она написана высококвалифицированным врачом, изучившим все доступные материалы.

Перед нами не просто «история болезни», а художественное произведение о Пушкине, написанное врачом, объективно знакомящее читателя с медицинскими сведениями о жизни, болезни и смерти Александра Сергеевича Пушкина.

Академик Н. Н. БЛОХИН



«Скорбный лист» — так в эпоху А. С. Пушкина назывался тот медицинский документ, который сегодня именуется историей болезни. Новое название соответствует прогрессу медицины, поскольку болезнь в наше время чаще всего краткий, порой — неприятный, но только эпизод в долгой человеческой жизни. Кроме того, слово «история» подразумевает объективность и беспристрастность заметок врача о развитии заболевания, результатах обследования пациента, его лечении и прогнозе.

Именно поэтому, когда речь заходит об истории болезни А. С. Пушкина, хочется вернуться к старинному названию — «Скорбный лист», памятуя, что скорбь — это крайнее выражение печали.

Известно: никто из врачей, лечивших смертельно раненного поэта, не вел его истории болезни. При жизни Александра Сергеевича о его ранении был написан лишь один, скорее полицейский, чем медицинский документ — донесение старшего врача полиции Йоделича («Полицией узнано, что вчера в 5-м часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком кавалергардского ее величества полка бароном

Геккереном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха. . — Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. — О чем вашему превосходительству имею честь донести») и несколько коротких бюллетеней, написанных В. А. Жуковским и вывешиваемых в вестибюле дома на Мойке. Последний бюллетень, всего в пять слов («Больной находится в весьма опасном положении»), был обнародован за несколько часов до печального финала.

Все, что нам известно о 46 предсмертных часах его физических и душевных мучений, написано по горячим следам свидетелями-очевидцами, среди которых были и врачи В. Б. Шольц, В. И. Даль, И. Т. Спасский

Уже в те дни передовые деятели русской культуры понимали — о Пушкине позднейшие поколения захотят узнать как можно больше: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами...» — сообщал 5 февраля 1837 года П. А. Вяземский А. Я. Булгакову.

Начало трагической Пушкиниане положено известным письмом В. А. Жуковского к отцу покойного; продолжили ее многие биографы поэта, и в первую очередь — П. Е. Щеголев.

Почти полтора века, прошедших с того рокового 1837 года, не прекращается обсуждение причин гибели поэта. Наряду с писателями и историками в нем приняли участие такие видные представители отечественной медицины, как Н. Н. Бурденко, С. С. Юдин, А. М. Заблудовский, И. А. Кассирский. При этом нередко высказывались самые несовместимые мнения о возможности спасения А. С. Пушкина. И если хирурги чаще всего осторожны в своих заключениях, то литераторы словно забывают, в каком веке это случилось. Как здесь не вспомнить высказывание врача и писателя А. П. Чехова: «...Странно читать, что рана князя (Андрея Болконско-

го. — Б. Ш.), богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина!»

Одна из последних и удачных попыток воссоздать на научной основе историю болезни А. С. Пушкина была предпринята врачом Ш. И. Удерманом. Работа его, опубликованная в Ленинграде издательством «Медицина» в 1970 году мизерным тиражом (всего 2000 экземпляров), сразу же стала библиографической редкостью

В некоторых художественных произведениях, посвященных драматическим событиям дуэли и гибели А. С. Пушкина, порой тоже затрагиваются вопросы правильности лечения, добросовестности и компетенции врачей, которым была доверена жизнь поэта.

Так, в одном из самых значительных произведений на эту тему — в пьесе М. Булгакова «Последние дни» есть, например, такая реплика Натальи Николаевны, обращенная к В. И. Далю: «Вы не доктор, вы сказочник, вы пишете сказки...» В другом случае тайный агент Третьего отделения докладывает Дубельту: «...двое каких-то закричали, что иностранные лекаря нарочно залечили господина Пушкина»

Приступая к этой работе, я не ставлю целью выдвинуть новые концепции причины смерти А. С. Пушкина. Перебираю этот терзающий душу материал больше для себя — чтобы еще раз соприкоснуться с тем, что имеет отношение к любимому поэту. Наивные «если бы» мешают следить за действиями Даля и Спасского, Арендта и Андреевского. Но ничего нельзя уже изменить. И мне только остается вместе с врачами, склонившимися над телом Александра Сергеевича, горько сожалеть, что мало жил, что рано умер.



1

«В шесть часов вечера карета с Данзасом и Пушкиным подъехала к дому князя Волконского на Мойке, где жил Пушкин. У подъезда Пушкин попросил Данзаса выйти вперед, послать за людьми вынести его из кареты и предупредить жену, если она дома, сказав ей, что рана не опасна»

Сбежались люди, вынесли своего барина из кареты. Камердинер взял его в охапку.

«Грустно тебе нести меня?» — спросил его Пушкин.

Внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван...

Пушкин был на своем смертном одре».

П. Е. ЩЕГОЛЕВ. «Дуэль и смерть Пушкина»

Историю болезни принято начинать с жалоб больного в момент первичного осмотра врачом. Если бы А. С. Пушкин сегодня поступил в приемное отделение какой-нибудь больницы «скорой помощи», врачи записали бы, что он жалуется на боли внизу живота, отдающие в поясницу, кровотечение из раны, слабость, головокружение, жажду и тошноту. Примерно то же самое отметил доктор В. Б. Шольц, который вместе с доктором К. К. Задлером в числе первых врачей навестил раненого.

Однако, если быть скрупулезно точным, в записке Шольца отсутствуют жалобы А. С. Пушкина на боли и слабость. Даже наоборот, он подчеркивает, что особой слабости не было. Александр Сергеевич громко и ясно спрашивал об опасности ранения.

Можно допустить, что боль к этому времени поутих-

ла и не шла ни в какое сравнение с тем, что Пушкин испытывал в момент ранения («..сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу») и особенно по дороге к дому, сидя в тряской карете рядом со своим секундантом К. К. Данзасом.

Следующим разделом традиционной истории болезни является *anamnesis vitae*, что в буквальном переводе с латинского означает воспоминание о жизни. Разумеется, «воспоминания» с медицинских позиций существенно отличаются от обычных воспоминаний. Врача интересуют главным образом моменты, которые могут отрицательно сказаться на физическом состоянии и психике пациента: перенесенные заболевания, патология наследственности, вредные привычки и т. п. Конечно, внимание врача привлекают также и те факторы, которые идут с положительным знаком и способствуют повышению устойчивости больного к различным вредным воздействиям.

Александр Сергеевич родился 26 мая (6 июня) 1799 года в Москве. Он был вторым ребенком в семье отставного гвардии майора двадцатидевятилетнего Сергея Львовича Пушкина, имевшего репутацию известного острослова, и двадцатичетырехлетней «красавицы-креолки» Надежды Осиповны, урожденной Ганнибал.

Если верно, что продолжительность жизни в известной степени запрограммирована в генах, то Александру Сергеевичу досталась неплохая наследственность: его знаменитый прадед Абрам Петрович Ганнибал умер на 92 году жизни, оба его деда, бабушка по линии отца и мать прожили более 60 лет*, а бабушка Мария Алексе-

* Лев Александрович Пушкин родился в 1723 году, умер в 1790 году.

Осип Абрамович Ганнибал родился в 1744 году, умер в 1806 году.

Ольга Васильевна Чичерина, мать отца поэта, родилась в 1737 году, умерла в 1812 году.

Надежда Осиповна Пушкина родилась 21/VI 1775 года, умерла

евна Ганнибал и отец — по 73 года. Сестра Ольга, родившаяся на полтора года раньше Александра Сергеевича, пережила его на 30 с лишним лет. И только младший брат Лев умер относительно рано — на сорок восьмом году жизни, хотя по тем временам и этот возраст считался достаточно почтенным. (Здесь в скобках заметим: пятеро детей Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных — Михаил, Павел, Николай, Платон и Софья — умерли в младенчестве. Но эти преждевременные смерти никак не компрометируют наследственность А. С. Пушкина, так как обусловлены детскими болезнями, бороться с которыми в те годы было практически невозможно. В. Андросов в «Статистических записках о Москве» изданных в 1882 году, писал: «Не доживши года, умирает из родившихся целая половина и даже несколько более».)

Хорошая наследственность, воспринятая Александром Сергеевичем, была передана его детям: старшая дочь Мария Александровна (в замужестве Гартунг) прожила 87 лет, старший сын Александр Александрович, особенно походивший внешностью на отца, успел отметить 81 годовщину, младшая дочь Наталья Александровна (во втором браке графиня Меренберг) прожила 76 лет и Григорий Александрович — 70 лет.

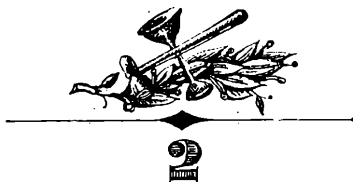
Таким образом, мы можем предположить, что дантесовская пуля настигла поэта на середине его естественного жизненного пути.

В раннем детстве Александр Сергеевич был толстым, неуклюжим и малоподвижным ребенком. Это противоречит нашему представлению о нем, как о чрезвычайно эмоциональном человеке с тонким стремительным профилем. Внешний облик трехлетнего Пушкина запечатлен на единственном портрете.

29/III—1836 года. О причине ее смерти судить трудно. Известно только, что она болела долго (более 10 месяцев), и уже за несколько месяцев до ее смерти лечившие ее врачи и близкие не сомневались в печальном исходе.

Не вызывает сомнений, что с миниатюры неизвестного художника на нас смотрит будущий поэт, хотя у ребенка мягкий, женственный овал лица, пухлые щечки и гладкие, расчесанные на пробор волосы.

История этого портрета представляет для нас интерес, и поэтому мы на некоторое время прервем изучение анамнеза жизни А. С. Пушкина.



Миниатюра с изображением маленького Пушкина была подарена матерью поэта дочери выдающегося русского терапевта М. Я. Мудрова в год ее свадьбы с поэтом И. Е. Великопольским. Подарок пришелся как нельзя более к случаю: с одной стороны, это был знак памяти и благодарности семейства Пушкиных родственникам безвременно умершего профессора, у которого они лечились, а с другой — портрет должен был способствовать примирению Александра Сергеевича со старым знакомым Иваном Ефимовичем Великопольским, с которым произошла размолвка. Они в свое время выпустили друг в друга по целой обойме едких эпитграмм; последняя пушкинская была особенно резкой и обидной:

Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций,
Проигрывал ты кучки ассигнаций,
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров —

И с радостью на карту б, на злодейку,
Поставил бы тетрадь своих стихов,
Когда б твой стих ходил хотя в копейку.

Александр Сергеевич через Надежду Осиповну как бы протягивал руку Великопольскому. Впоследствии они неоднократно встречались и поддерживали «дружество» (словечко это употребил Александр Сергеевич в одном из писем к Великопольскому).

Потомки Мудрова бережно хранили эту реликвию, и уже в наше время портрет был преподнесен артисту Всеволоду Семеновичу Якуту, исполнившему на сцене роль Пушкина, а тот, в свою очередь, передал его Музею А. С. Пушкина в Москве.

Я хочу начать рассказ о врачах пушкинской эпохи с Матвея Яковлевича Мудрова, хотя у нас нет прямых доказательств, что он когда-нибудь лечил или консультировал Александра Сергеевича.

Мудров был старшим современником Пушкина; большую часть жизни он провел в Москве, и, возможно, когда Пушкин жил там или бывал наездами, пути их пересекались. Предположение это основано на том, что у них было много общих знакомых: Муравьевы, Тургеневы, Чеботаревы, Чаадаев. Не исключено, что Мудров лечил Александра Сергеевича в младенчестве (ведь первые 12 лет Пушкин жил в Москве), и, может быть, поэтому Надежда Осиповна и выбрала в подарок именно детский портрет

М. Я. Мудров родился в те годы, когда в русском искусстве господствовал классицизм. По канонам этого стиля имя героя литературного или драматического произведения должно соответствовать его характеру. Читая воспоминания современников о М. Я. Мудрове, можно подумать, что он шагнул в жизнь с подмостков театра классицизма: все биографы в один голос подчеркивают его ясный ум, прозорливость и здравый смысл в подходах к лечению.

Впрочем, чтобы убедиться в гармоничном совпадении его фамилии и взглядов на медицину, не обязательно ссылаться на свидетелей. Достаточно познакомиться с научным наследием М Я Мудрова Любопытно одно перечисление названий: «Слово о благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача», «Слово о способе учить и учиться медицине практической или деятельному врачебному искусству при постелях больных», «Слово о пользе и предметах военной гигиены, или науке охранять здоровье военнослужащих» и др. Каждое такое «слово» по сути дела — актовая речь, приуроченная к тому или иному торжественному событию.

Круг выступлений Мудрова прежде всего свидетельствует о широте его интересов: от вопросов должного поведения врача у постели больного (сегодня эти проблемы — компетенция особой науки, получившей название деонтологии) до основ военной гигиены. Кстати, заметим, что ряд современных исследователей доказывает текстуальное совпадение документа декабристов об организации народного здравоохранения с работой М. Я. Мудрова «Слово о пользе и предметах военной гигиены...».

Уровень врачебных знаний о сущности многих болезней в первой четверти XIX века был весьма ограничен — по остроумному замечанию одного из современников Мудрова, все достоверные сведения о них могли уместиться на ногте мизинца. В этих условиях особенно логичны и оправданны проповедуемые Мудровым принципы симптоматической терапии: «Не должно лечить и самой болезни, для которой часто названия не находим, не должно лечить и причины болезни, которые часто ни нам, ни больному, ни окружающим его неизвестны, а должно лечить самого больного — его состав, его орган, его силы».

Свои мысли он выражал ярко и лаконично, и многие его высказывания быстро становились поговорками:

«Легче предохранять от болезней, нежели их лечить»; «Посредственный врач скорее вреден, чем полезен» (это Мудров понимал даже в то время, когда общее число врачей в России не превышало 8 тысяч); «И душевные лекарства врачуют тело»; «Твоя аптека — вся природа»...

Он считал, что нет двух одинаковых больных. При лечении, по его мнению, следует учитывать особенности пациента, и не только связанные с возрастом, полом, но и социальным положением: «...Бедным покой, добрая пища и средства крепительные, богатым — труд, воздержание, средства очищающие».

Если вспоминать заслуги М. Я. Мудрова перед отечественной медициной, то нельзя не сказать, что он один из первых в России стал применять перкуссию (выстукивание) и аускультацию (выслушивание) сердца и легких.

Приоритет использования этих физических методов диагностики в медицине принадлежит венскому врачу Леопольду Ауенбруггеру. Наблюдая, как трактирщики выстукивают бочки и по высоте звука узнают, сколько в них осталось вина или пива, он решил таким же образом определять, имеется ли скопление жидкости в грудной полости. Однако предложение его быстро было забыто и только в начале XIX века благодаря трудам выдающихся французских терапевтов Лаэннека и Ж. Корвизара получило распространение. Лаэннек же считается изобретателем стетоскопа.

Первоначально выслушивание легких и сердца производилось непосредственно ухом. Но однажды, во время визита к молодой и стыдливой пациентке, чтобы не смущать ее, Лаэннек поставил между ухом и грудью больной трубочку, свернутую из тетради, и убедился, что благодаря этому более точно локализует сердечные тоны.

М. Я. Мудров сразу по достоинству оценил эти простейшие методы исследования больного, которые до сих

пор, наряду с определением пульса и температуры тела, являются обязательными, а порой и важнейшими элементами при постановке диагноза.

М. Я. Мудров много сделал для подготовки национальных врачебных кадров; одно время он даже был деканом медицинского факультета Московского университета, и несколько поколений российских медиков обязаны ему высоким уровнем клинического образования. Благодаря его энергии в 1813 году был восстановлен медицинский факультет университета, пострадавший от наполеоновского нашествия. По его настоянию в систему обучения студентов были введены практические занятия у постели больного.

Однако М. Я. Мудров был живым человеком, а не литературным персонажем эпохи классицизма. И он был дитя века — в нем соединились бескорыстие и страсть к деньгам, демократизм и барское высокомерие. По свидетельству Н. И. Пирогова, слушавшего его лекции в Московском университете, он держал себя как вельможа или важный сановник. В общении со студентами был на «ты», правда смягчая фамильярное обращение словом «душа». Во время лекции мог отпустить патриархальную шутку сомнительного свойства, а порой вместо разговора о болезнях углубиться в воспоминания о своем путешествии по Европе, о восхождении на ледники Альпийских гор и т. п.

Будучи одним из самых популярных, умелых и удачливых московских врачей, М. Я. Мудров нажил большое состояние. Визитной карточкой материального благополучия профессора был его экипаж: он ездил по городу в своей карете, возможно даже из «кованого серебра 84-й пробы» (как писал о московских богачах в «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин), запряженной четверкою лошадей с ливрейными лакеями на запятках.

Около дома Мудрова постоянно обитали толпы больных и нищих, приходивших за помощью. Свою лечебную

практику Матвей Яковлевич строил таким образом, что бедных, как он признавался, лечил за счет богатых, требуя от последних чрезвычайно высокие гонорары.

У Мудрова была большая уникальная библиотека. Но когда в 1812 году разгорелся московский пожар, он бросил все свое богатство, составлявшее, по его выражению, «ученую роскошь», и спас только 40 томов «скорбных листов», написанных им «при самих постелях больных», — 40 рукописных книг, в которых сконцентрирован его огромный и неповторимый клинический опыт

М. Я. Мудровым одним из первых в отечественной медицине была разработана особая система расспроса больного, которую впоследствии развил и усовершенствовал выдающийся русский терапевт второй половины XIX века Г. А. Захарьин.

Мудров писал: «Чтобы узнать болезнь подробно, нужно врачу расспросить больного: когда болезнь его посетила в первый раз; в каких частях тела показала первые ему утеснения; вдруг ли напала, как сильный неприятель, или приходила яко тать в ночи? Где первое показала свое насилие?..»

Несколько историй болезни Мудров собственноручно вписал в красную с золотым обрезом и украшениями сафьяновую книгу, которая долгие годы служила образцом ведения историй болезни для врачей и студентов.

До трагической гибели поэта М. Я. Мудров не дожил.

Подобно тем врачам, которые идут, как он писал, туда, где «ад источает всю лютость и искусство к убийству и мучению смертных», он сам ушел на борьбу с эпидемией холеры и погиб в расцвете творческих сил, заразившись от больного. Умерших от холеры хоронили на отдельных кладбищах. Похоронный обряд совершали ночью при свете смоляных факелов. На одном из таких заброшенных холерных кладбищ на Выборгской стороне находилась могила М. Я. Мудрова.

На памятнике замечательному доктору было написано, что он скончался в 1831 году «на подвиге подавания

помощи зараженным холерою в Санкт-Петербурге и пал оной жертвою своего усердия. Полезного житья его было 55 лет».



Продолжим, однако, описание физического развития Пушкина. Сестра поэта, вспоминая детские годы, свидетельствует: «...своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнюю молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, отчего он охотнее оставался с бабушкой Марьею Алексеевною, залезал в ее корзину и смотрел, как она занималась рукодельем...

Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив...»

Когда Иван Пущин познакомился с двенадцатилетним Пушкиным, неуклюжести, вялости не было и в помине. Это был живой, подвижный, быстроглазый мальчик.

По-видимому, родительские укоры и насмешки привели к тому, что в шкале человеческих ценностей у него получили приоритет физическая сила и ловкость.

К занятиям в Лицее Пушкин был подготовлен лучше, чем многие его товарищи. Но он вовсе не думал это как-то выказывать. Напротив, как пишет И. Пущин, «все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. ...».

Строгий распорядок шестилетней жизни в Лицее (подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера) с регулярным питанием, чередованием умственных занятий и отдыха, обязательными трехразовыми прогулками, хорошими гигиеническими условиями благоприятно отразился на его физическом развитии, а скромная обстановка его «кельи» (железная кровать, комод, конторка, за которой он занимался, стул, стол для умывальника) сделала его неприятельным в быту.

Примерно те же предметы, втиснутые в одну комнату (зато все необходимое под рукой!), нашел И. И. Пущин, навестивший друга в Михайловском зимой 1825 года: «...В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах)»

Оставшись в целом доме один, он не только не собирался обживать пустующую его половину, но даже не выбрал себе комнату побольше.

Привычки юности, как и привязанности, — самые стойкие. И через много лет он будет придерживаться почти лицейского распорядка. Правда, когда хорошо пишется, чтобы не спугнуть вдохновения, работает лежа в постели. «...Просыпаюсь в семь часов, пью кофе, и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропась, — информирует он Наталью Николаевну из Болдина в 1833 году. — В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До девяти часов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо».

В другой раз — из Михайловского осенью 1835 года: «...Я много хожу, много езжу верхом... Ем я печеный картофель... и яйца всмятку... Вот мой обед. Ложусь в 9 часов; встаю в 7...»

В еде Александр Сергеевич был неприхотлив, или, как однажды выразился П. А. Вяземский, лакомкой он не был, хотя имел любимые «блюда»: печеный картофель, моченые яблоки, варенье из крыжовника и некоторые другие «дары природы» Менее чем за час до смерти ему захотелось моченой морковки. Он с нетерпением ожидал, пока ее принесли Вкус болотной ягоды — последнее приятное ощущение, которое испытал Пушкин.

По мнению одних, ростом Александр Сергеевич был мал, другие же пишут, что он был среднего роста Однако почти все мемуаристы сходятся на том, что он был плечист, тонок в талии и сложен крепко и соразмерно. Да и сам Александр Сергеевич об этом прекрасно знал. «...Мерялся поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы, — писал он брату из Михайловского и, чуть-чуть кокетничая, с улыбкой заключил: — След из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины»

Что же касается разнотолков о росте Пушкина, то спор этот легко разрешим.

Художник Г. Г. Чернецов, работая над известной картиной «Парад на Царицыном лугу», в апреле 1832 года писал с натуры группу поэтов: А. С. Пушкина И. А. Крылова, В. А. Жуковского и Н. И. Гнедича Под изображением Пушкина рукой художника помечено: «...ростом 2 арш. 5 верш. с половиной», что в переводе на десятичную систему составляет 166,74 см, т. е. по тем временам рост вполне средний*.

Александр Сергеевич постоянно поддерживал хорошую физическую форму. Он был неутомимым ходяком. Прогуливался часто с тяжелой (по определению кучера Пушкина П. Парфенова, девятифунтовой) же-

* Ложное представление о его росте, возможно, обусловлено тем, что он был ниже Натальи Николаевны, рост которой был гораздо выше среднего.

лезной палицей, которую к тому же нередко подбрасывал и ловил на лету. Верховая езда была его страстью. Ему седлали то прекрасного аргамака, то крестьянскую лошадку, которой за это перепадал овес. Александр Сергеевич дорожил репутацией хорошего наездника и однажды, повредив во время скачек руку, убеждал П. А. Вяземского, что он не свалился с лошади, а упал на льду с лошадыю: «Большая разница для моего наезднического честолюбия».

Летом, находясь в Михайловском, Пушкин подолгу плавал в Сороти, а зимой перед завтраком принимал ванну со льдом. Правда, ванной служила большая бочка, которую наполняли водой. Кучер Александра Сергеевича вспоминал: «...утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад, потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе».

К этому надо еще добавить его любовь к русской бане, которую он называл «наша вторая мать»: ведь после хорошей парилки человек как бы рождается заново. А Пушкин знал в этом толк: выпарившись на полкѣ, он бросался в ванну со льдом и снова уходил на полок. И так по многу раз.

Необходимость защищать свою честь с оружием заставляла постоянно тренировать глаз и руку. Особенно тщательно он готовился к поединку с графом Ф. И. Толстым, прозванным «Американцем», характеристика которого представлена Грибоедовым:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист...

Стрельба в цель из пистолета входила в круг повседневных занятий Пушкина во время южной ссылки и позже — в Михайловском, где он даже оборудовал в подвале тир.

При случае охотно сражался на рапирах, проявляя

при этом мастерство. Молодой офицер Ф. Н. Лугинин, который общался с Пушкиным в Кишиневе, записал в своем дневнике: «...дрался с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь». Через несколько дней снова запись: «...опять дрался с Пушкиным, он дерется лучше меня и следственно бьет...»

Пушкин был легок на подъем и, когда выдавалась возможность, с радостью отправлялся в далекую дорогу. «Путешествия нужны мне нравственно и физически», — писал он. Но даже кратковременная перемена места жительства после возвращения из ссылки в 1826 году и до самой смерти была сопряжена с унижительной необходимостью обращаться за разрешением к Бенкендорфу.

Благотворно отражались на его здоровье и творчестве «побеги» из столицы в деревню — «обитель дальнюю трудов и чистых нег». Недаром в неоконченном «Романе в письмах» он сравнивает деревню с кабинетом, в котором приличествует находиться порядочному человеку.

В переписке Пушкина можно встретить гигиенические советы. «...Ты пишешь, что потерял аппетит и не завтракаешь так, как бывало, — отвечает он своему старинному знакомому М. О. Судиенке. — Это жаль, делай больше физических упражнений, приезжай на почтовых в Петербург, и аппетит вернется к тебе...»

Особенно часто он дает советы Наталье Николаевне, выступая как любящий и заботливый муж.

В истории болезни не принято приводить описание портрета пациента, хотя в быту первый признак, по которому определяют, здоров ли человек или болен, — его внешний вид, выражение лица, глаза, голос. В свое время даже получили права гражданства так называемые физиогномисты — наблюдательные, а может, и проницательные люди, пытавшиеся судить о внутреннем состоянии испытуемого по чертам его лица и мимике. Заметим, кстати, что хороший врач почти всегда в какой-то степени физиогномист.

Известно, что Александр Сергеевич к своей внешности относился весьма критично.

Припоминая слова покойной няни, он писал о себе Наталье Николаевне осенью 1835 года: «...Хорош никогда не был, а молод был...»

А вот благодарственные строчки художнику О. А. Кипренскому — признанному главе романтического направления в живописи, создавшему один из лучших портретов поэта:

...Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

По воспоминаниям современников, на полотне работы О. А. Кипренского, а также на ряде гравюр с него (особенно Н. И. Уткина) было наиболее живо схвачено выражение лица Пушкина. Правда, близкий друг Александра Сергеевича Вера Федоровна Нащокина утверждала, что ни один из его портретов не передает и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз.

Для представления об облике поэта может немало дать гравюра Т. Райта, о которой И. Е. Репин отозвался следующим образом: «Обратите внимание... что в наружности Пушкина отметил англичанин! Голова общественного человека, лоб мыслителя. Виден государственный ум...»

Это изображение Пушкина созвучно высказыванию о нем А. Мицкевича, переданному П. А. Вяземским: «...Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах...»

Масштабность и ясность государственного мышления Пушкина отмечалась не только великим польским по-

этом, но и многими иностранными дипломатами, которым доводилось встречаться с ним в Петербурге. И даже только что коронованный Николай I после долгой беседы с Пушкиным, доставленным из Михайловского в Москву, вынужден был во всеуслышанье назвать его умнейшим человеком России.

Александр Сергеевич знал, что вдохновение преобразило его, и поэтому отказывался позировать скульптору, боясь «мертвой неподвижности», в которой будет запечатлено его «арапское безобразие». («...Когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым...» — отметила в своем дневнике 21 мая 1831 года наблюдательная и умная женщина Долли Фикельмон.)

В фиктивной подорожной от 25 ноября 1825 года, с которой Пушкин под видом слуги своей тригорской соседки П. Осиповой собирался нелегально выехать в С.-Петербург, Александр Сергеевич собственноручно (лишь несколько измененным почерком) так описал свои приметы, чуть-чуть уменьшив рост и прибавив возраст: «росту 2 арш. 4 верш., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29...»

У Пушкина были большие выразительные глаза, ослепительно белозубая улыбка и красивые, завивающиеся на концах волосы. В юности, согласно романтической моде, он носил кудри до плеч. Затем на смену им пришла более степенная прическа и густые баки. Правда, с возрастом через «поэтическую» шевелюру стала просвечивать лысина и волосы вились меньше.

В молодые годы, когда, надо полагать, Пушкин особенно лелеял свои локоны, он вынужден был несколько раз с ними расстаться.

Я ускользнул от Эскулапа,
Худой, обритый — но живой... —

писал он летом 1819 года своему приятелю по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардту.

В Кишиневе поэт выделялся в военной среде «партикулярным» платьем и обритою после горячки головою, которую прикрывал, не желая носить парик, красной ермолкой

Вряд ли Пушкин согласился бы на такое опрощение своей внешности, если бы не вынужденные обстоятельства — очень тяжелое течение «гнилой горячки»*, как была названа болезнь, которой он страдал в 1818—1820 годах

Для врача не имеет значения, атеист его пациент или верующий, каких жизненных принципов придерживается. Хотя, надо заметить, знание любых особенностей личности может существенно помочь выработке тактики поведения с больным. Так, например, от малодушного человека надо всячески скрывать опасность заболевания, тогда как человек мужественный в ряде случаев должен получить необходимую информацию, которая поможет ему собраться, мобилизовать свои силы

Прежде чем перейти к уточнению перенесенных Пушкиным заболеваний, попытаемся составить представление о психологических особенностях личности поэта.

Сделать это необычайно сложно — современники его порой противоречат друг другу, потому что Пушкин менялся не только в разные периоды своей жизни, но и в течение одного дня и даже часа. Об этом пишет, в частности, А. П. Керн: он был неровен в обращении, «то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту...».

В письме к своему приятелю В. П. Зубкову, с которым Александр Сергеевич некоторое время после возвращения из михайловской ссылки был душевно близок и

* Подробнее об этом заболевании А. С. Пушкина мы говорим позднее.

откровенен, он так определил негативные стороны своего характера, которые порой ввергали его в «тягостные раздумья»: «...неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно...»

В другой раз, в разговоре с К. А. Полевым, братом и ближайшим сотрудником издателя «Московского телеграфа», Александр Сергеевич подчеркнул свою склонность к грусти и меланхолии (Это, кстати, тонко подметил художник Кипренский, сумевший средствами живописи передать в его вдохновенном облике оттенок затаенной горечи.)

Осенью 1822 года в одном из писем А. С. Пушкин изложил 17-летнему брату Льву, вступающему в самостоятельную жизнь, свод правил, выработанных на основании личного опыта. Александр Сергеевич наивно полагал, что следование его советам может избавить нежно любимого брата от «дней тоски и бешенства», которые поэт пережил в полной мере.

«...Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь, — предупреждал он Льва Сергеевича. — С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит, особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унижить, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать; люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе.

Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего, — предательство. — Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает.

Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно.

Никогда не забывай умышленной обиды, — будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление.

Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения.

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым...»

Логично предположить, что к большинству этих правил А. С. Пушкин пришел, как говорится, «от противоположного». Несложно представить тот горький жизненный опыт, который заставил 23-летнего поэта принять оборонительную позу.

Приведенные строки письма к брату невольно вызывают в памяти письмо Антона Павловича Чехова к брату Николаю, в котором тоже изложена программа поведения молодого человека в обществе. И хотя эти «кодексы» мало похожи (другое время, другая среда, другие люди), но главное, и Пушкин, и Чехов считали, что собственный характер надо строить, если не хочешь оказаться под ногами или потерять собственное лицо. Оба писателя ценили в людях силу характера.

Александр Сергеевич, хотя и проповедовал холодность, не умел скрывать своих чувств, выражал их всег-

да искренне и, по воспоминаниям современников, был пленителен, когда что-нибудь приятное волновало его, и неуправляем во гневе, когда сталкивался с высокомерием, хамством, подлостью

Как здесь не вспомнить поразившие А. И. Тургенева слова псалма, который дьячок читал над телом только что умершего Пушкина: «Правду твою не скрыв в сердце твоём...»

Мемуарная литература отражает его эмоциональную обостренность, страстность, пылкость, порывистость, чувствительность к насмешкам, обидчивость, нетерпеливость, неистощимую подвижность ума, влюбчивость... Характеристику различных граней личности Пушкина можно продолжать до бесконечности. Но пожалуй, доминирующими свойствами его характера были неистребимое стремление к независимости, самоутверждению, свободомыслию, глубокая вера в собственное достоинство и постоянная, недремлющая готовность защищать свою честь пером и оружием. При этом честь он понимал значительно шире, чем только собственное человеческое достоинство и репутацию своей жены: это — и доброе имя его предков, и авторитет учителей, и русский язык, и русская литература...

С детства нам памятен эпиграф к «Капитанской дочке»: «Береги честь смолоду».

Эту поговорку можно было бы предпослать биографии самого Александра Сергеевича. Любопытно отметить, что среди рукописей Пушкина сохранился неиспользованный набросок введения к «Капитанской дочке», написанного от лица автора записок. Под введением рядом с датой стоит место написания: «Черная речка».

Если вспомнить эпиграф к повести, то совпадение, хоть и случайное, но знаменательное: он так и погиб на этой самой «Черной речке» — «Невольник Чести», как назвал его М. Ю. Лермонтов.

Жизнь поэта протекала, как принято говорить сегодня, в условиях постоянного стресса: конфликт с великосветским обществом, ссылки, доносы, поднадзорность, аресты и казнь друзей, иезуитская цензура, безденежье, семейные неурядицы, камер-юнкерский наряд, потеря взаимопонимания с единомышленниками — и все это при его повышенной впечатлительности.

Его притесняли, травили, пытались унижить.

Унижения начинались с замечания царя об одежде поэта на балу у французского посланника («...Вы могли бы сказать Пушкину, — поручает он Бенкендорфу, — что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах...») до «высочайшего» мнения о «Борисе Годунове» с рекомендацией переделать его в «историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта», переданного через того же царского сатрапа. (В остроумнейшей статье А. С. Пушкина о Вольтере, опубликованной в 1836 году в «Современнике», можно было прочитать почти не замаскированный упрек поэта Николаю I: «К чести Фридерика II скажем, что сам от себя король... не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света...»)

На следующем этаже светской иерархии плели интриги и пакостили Пушкину осмеянные им министры, генералы, дипломаты — все эти воронцовы, уваровы, несельероде, геккерены.

На еще более низком уровне злобствовал Фаддей Булгарин — тайный агент царской охранки, русский Видок, «сволочь нашей литературы», как аттестовал его Пушкин. Но от того, что он был внизу, не означало, что он менее опасен: в руках Булгарина была пресса, а следовательно, возможность воздействовать на читательские мнения, на публику.

Травля Пушкина Булгариным началась после поражения декабрьского восстания, но апогея достигла в 1830 году, когда Булгарин напечатал в своей «Северной

пчеле» пасквиль, в котором, чуть-чуть завуалировав имя поэта, обливал его грязью. При этом все обвинения были заимствованы из архивов ведомства Бенкендорфа — Дубельта, и даже фразеология выдержана в духе сотрудников Третьего отделения.

Заклеймив Булгарина как сыщика в полемических статьях и эпиграммах, Пушкин, кроме того, пишет его хозяину — Бенкендорфу: «...г. Булгарин, который говорит, что имеет у Вас влияние, стал одним из самых заклятых моих врагов... После гнусной его статьи против меня я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить Вас о моих отношениях к этому человеку, потому что он может мне причинить безграничный вред...»

В мемуарной литературе встречаются высказывания о суеверности Пушкина. Близкий его друг С. А. Соболевский даже выступил со статей «Таинственные приметы в жизни Пушкина», в которой, в частности, утверждал, что сосланный в Михайловское поэт не оказался в декабре 1825 года на Сенатской площади только благодаря чистой случайности: он решил тайно навестить друзей и уже выехал из деревни, но сперва ему дорогу перебежал заяц, а потом он встретил священника — и то и другое служит дурным предзнаменованием, и именно это заставило его повернуть назад.

Как вспоминает соседка Пушкина по имению М. И. Осипова, поездка отменилась в силу тех же причин. Но она пишет, что было это уже через несколько дней после восстания, о котором поэт узнал от кучера Осиповых, вернувшегося из столицы.

Этот вариант кажется более правдоподобным: понятно первое импульсивное движение Пушкина — в Петербург, к друзьям, братьям, товарищам, как он неоднократно именовал в письмах участников восстания. По дороге наступило отрезвление — стала очевидной бессмысленность этой поездки. Надо было найти причину возвращения в Михайловское. А вот и хороший повод: заяц,

священник. Жестокая расправа с декабристами потрясла Пушкина. Близость его к восставшим и популярность в их среде его стихов не были тайной для правительства. На рукописи пятой главы «Евгения Онегина» в память об этих страшных событиях, которые не переставали терзать его душу, сохранился рисунок виселицы с телами пяти повешенных и оборванная на полуслове фраза: «И я бы мог, как...»

О вере Пушкина в приметы и предзнаменования свидетельствует также история с гадалкой Киргоф. Мрачные ее пророчества запали в душу поэта и тревожили его.

В то же время сохранились и другие, противоречащие им свидетельства. Взглянем на зафиксированную Жуковским (по-видимому, со слов прислуги) хронологию дня дуэли. «...По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. — Возвратился, — (принес) велел подать в кабинет большу(ю) шубу и (поехал) пошел пешком до извозчика. — Это было ровно в 1 ч. ...»

Во все времена вернуться с дороги — одна из самых плохих примет: пути не будет. Это не остановило Пушкина, хотя он вовсе не искал собственной смерти и рассчитывал на благоприятный для себя исход поединка. «...Поэт располагал поплатиться за это лишь новой ссылкой в Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то, на свободе, предполагал заняться историей Петра Великого», — со слов А. Н. Вульфа, близко знавшего Пушкина, записал один из его ранних биографов.

Поэзия Пушкина чужда мистики, и сам он в 1826 году призывал Дельвига. «...не будем ни суеверны, ни односторонни» Но я не берусь опровергать утверждения современников поэта.

Как верно заметил однажды о творческом методе Пушкина П. А. Вяземский, он никогда не писал картин по размеру рам, заранее изготовленных. Так и к живому Пушкину нельзя подходить с заданными мерками: он был во всем неоднозначен.



И

Источники информации о перенесенных А. С. Пушкиным болезнях разнообразны. это — и его письма, и воспоминания современников, и очень редко — медицинские документы, составленные, к сожалению, не всегда грамотно.

Так, например, в рапортах врача Ф. О. Пешеля о заболеваниях Александра Сергеевича во время его пребывания в Лицее фигурируют не диагнозы, а самые общие симптомы: «нездоров», «головная боль», даже просто — «больной» и чаще всего (7 из 16 обращений к врачу) «простуда» Каждое из этих состояний может быть обусловлено различными причинами. Не вызывает разночтений только одно заключение: «опухоль от ушиба щеки».

По-видимому, это были не очень опасные для здоровья Пушкина болезни. Подтверждение тому — кратковременность пребывания на госпитальной койке: два три дня, максимум — пять дней.

Вынужденное уединение Александр Сергеевич использовал для сочинения стихов. Его навещали друзья. Пущин сохранил для потомства сцену, когда поэт читал в лазарете «Пирующих студентов»:

«...После вечернего чая мы пришли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужный час настал;
Все тихо, все в покое... — и проч.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только

прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он весь был тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы Мы слушаем:

Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска...»

Врач Ф. О. Пешель, которому было доверено здоровье лицейцев, проработал в штате этого привилегированного учебного заведения с его основания до 1842 года и дослужился до высокого чина статского советника.

В пушкинскую пору доктор был весьма легкомысленным; он забавлял лицейцев своими неудачными любовными похождениями, анекдотами и уморительным русским языком. Барон М. А. Корф остроумно назвал его добрым человеком, «о котором могли отзываться дурно разве только его больные».

Занимаясь медицинской практикой, Пешель придерживался принципа «не вреди» и прописывал лекарства (чаще всего из солодкового корня), которые не оказывали какого-либо влияния на течение патологического процесса. Молодой и крепкий организм его пациентов сам справлялся с болезнями, благо они не были очень серьезными.

Но как это ни парадоксально звучит, жизнь Александра Сергеевича подвергалась смертельной опасности именно во время пребывания его на больничной койке.

Двадцатилетний «дядька» из вольноопределяющихся, Константин Сазонов, который прислуживал Пушкину в лазарете, 18 марта 1816 года был изобличен как уголовный преступник, убийца и грабитель, совершавший раз-

бои в Царском Селе. Это дало повод поэту выступить с эпиграммой, поставив рядом матерого убийцу и бездарного врача:

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым:
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под коною;
Сазонов был моим слугою,
А Пешель — лекарем моим.

Право, превосходные успехи Пушкина в словесности и фехтовании, отмеченные в свидетельстве об окончании Лицея, сошлись вместе в его эпиграммах.

В июне 1817 года А. С. Пушкин покинул Лицей и, расставшись с верными друзьями, переехал в Петербург к родителям.

Вдруг обретенная свобода и кажущаяся независимость вскружили ему голову. Началась безудержная жизнь: балы, театры, пирушки. Пушкин — кумир «золотой» столичной молодежи. На поэзию почти не оставалось времени. Жуковский и Батюшков тревожились за его будущее. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тяжелая болезнь, которая, как он сам выразился, остановила на время избранный им образ жизни.

В начале декабря 1817 года Пушкин заболел «гнилою горячкой».

Болезнь эта стала одним из поворотных моментов в его биографии. Вряд ли иначе спустя шесть лет он вспомнил бы о ней на той же странице своих «Записок», на которой оценивал многотомную «Историю» Н. М. Карамзина. Расходясь с историографом в ряде принципиальных, политических вопросов, Пушкин отдавал должное писательскому и научному подвигу — двенадцатилетнему затворничеству Карамзина в работе над книгой. Повидимому, балансирование на грани жизни и смерти заставило поэта еще раз задуматься о своем назначении.

А о критичности ситуации свидетельствовало отчаяние родителей и неуверенность лечащего врача в исходе

заболевания: «Лейтон за меня не отвечал», — лаконично записал Пушкин.

Что за болезнь «гнилая горячка», которую перенес поэт?

Ответить с уверенностью на этот вопрос сегодня нельзя, так как понятие «горячка» объединяло все тифы, малярию, грипп и разные лихорадочные состояния. Правда, между горячкой и лихорадкой существовала некая разница. В. И. Даль* определил ее следующим образом: «Обычно лихорадкой зовут небольшую и недлительную горячку, а более перемежную, а горячкой — длительную и опасную, например нервную, желчную, гнилую и пр.».

Определение «гнилая» дает основание предположить, что горячка вызвана воспалительным процессом, хотя в клинической картине заболевания, вернее, в том, что нам известно о ней, не было признаков воспаления какого-либо органа, включая легкие и почки. Я склонен считать, что Александр Сергеевич болел тяжелой формой малярии. В пользу этого предположения — рецидивы заболевания в последующие два года и эффект от лечения хиной, которое в 1820 году провел доктор Е. П. Рудковский.

Тогда, в 1817 году, штаб-доктор Я. И. Лейтон применил только начинавший входить в практику жаропонижающий метод. Сегодня для получения понижающего температуру тела эффекта назначают аспирин или другие производные салициловой кислоты. Во времена Пушкина этих средств еще не знали и с той же целью пользовались холодной водой. Лечение водой импонировало главному врачу русского флота Якобу Лейтону. Но в случае с молодым Пушкиным, учитывая особенно высокую лихорадку, он решился на «чрезвычайные меры» и применил ванны со льдом.

* Я ссылаюсь на авторитет Даля, поскольку он был не только ученый-лингвист, писатель, но и врач.

Тот факт, что Александр Сергеевич в конце концов, как говорится, несмотря на лечение выздоровел, тоже свидетельствует в пользу малярии — любой воспалительный процесс от такой терапии только бы усугубился.

Поправлялся он медленно. Почти всю зиму не выходил из дому.

«Чувство выздоровления — одно из самых сладостных, — писал Пушкин. — Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хотя это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью». Через несколько лет он об этом же скажет в стихах:

...я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены.

Продолжаю разорванную стихами цитату: «Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна явилась моему воображению со всей поэтической своей прелестью...» Известный наш филолог Ю. М. Лотман, написавший недавно одну из лучших биографий Александра Сергеевича, совершенно справедливо назвал потомка африканца Ганнибала человеком севера. Пушкин любил зимние морозы, но особенно «унылую пору» поздней осени, когда крепло его здоровье и наступал период наиболее интенсивных литературных трудов. Здесь самое время адресовать читателя к стихам поэта:

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей...

В уединенной комнатке в квартире отца, как только стал поправляться, он с наслаждением принялся за поэму «Руслан и Людмила», начатую еще в Лицее. Много читал, восполняя пробелы в своем образовании, а беседы с друзьями, которых он принимал в полосатом бухарском халате и ермолке, прикрывавшей бритую голову, скрашивали длинные зимние вечера.

Заболевание повторилось примерно через полтора года и опять протекало с высокой температурой. Проболел он большую часть июня. Был момент, когда друзья и родственники опасались за его жизнь. Александр Сергеевич находился в это время в Петербурге, и дядюшка Василий Львович, со слов А. И. Тургенева, писал из Москвы в Варшаву П. А. Вяземскому: «Пожалей о нашем поэте Пушкине. Он болен злою горячкою. Брат мой в отчаянии, и я чрезвычайно огорчен такой печальной вестью...»

Но Александр Сергеевич, обладая колоссальным запасом жизненных сил и неисчерпаемым оптимизмом, на этот раз тоже благополучно справился с недугом. И уже 9 июля Василий Львович праздновал выздоровление племянника, а сам поэт взял отпуск в Коллегии иностранных дел, где числился на службе, и, еще «полубольной», на месяц укатил в Михайловское поправлять здоровье.

Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода, —

писал он В. В. Энгельгардту в известном стихотворении, которое здесь уже цитировалось («Я ускользнул от Эскулапа худой, обритый — но живой...»).

В Михайловском он хорошо окреп; но волосы, разумеется, за это время отрасти не успели, и осенью 1819 года можно было наблюдать, как Александр Сергеевич где-нибудь в ложе театра или на балу, сняв с головы парик, обмахивался им, будто веером.

Болезнь привязалась к Пушкину и еще через год навестила его снова. На этот раз она захватила его в Екатеринославле вскоре после прибытия к месту новой службы, как именовалась фактическая ссылка.

Сам Александр Сергеевич считал, что причина болезни в простуде: «...выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью...» Хотя, как можно судить по воспоминаниям,

нениям доктора Е. П. Рудыковского, это была типичная малярия с периодическими приступами (или, как тогда выражались, пароксизмами) лихорадки, сменяющимися ощущением полного здоровья.

Больному повезло: в это же время в Екатеринославле по пути на Кавказ оказалась семья Раевского, в свите которого был врач — уже упоминавшийся нами Евстафий Петрович Рудыковский.

Вот как доктор вспоминал о первой встрече с пациентом, к которому его привел приятель Пушкина — младший сын генерала:

«...Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек — небритый, бледный и худой. ...Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.

— Чем вы тут занимаетесь?

— Пишу стихи.

«Нашел, — думал я, — и время и место». Посоветовавши ему на ночь выпить чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня.

...Поутру гляжу — больной уж у нас; говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма.

Пишу рецепт.

— Доктор, дайте чего-нибудь получше; дряни в рот не возьму.

Что будешь делать, прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю. «Пушкин»: фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу, как самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины.

...И Пушкин выздоровел...»

Доктор Рудыковский, как мы видим, оказался хорошим практиком: он подобрал именно то лекарство, кото-

рое было необходимо больному малярией, и дал его, надо полагать, в большой, ударной дозе, о чем можно судить по выражению «закатил ему хины» Поэтому и болезнь как рукой сняло. «...Я лег в коляску больной; через неделю вылечился ..» — позднее писал Александр Сергеевич брату, вспоминая о «счастливейших минутах жизни», которые он провел «посреди семейства почтенного Раевского».

Чуть только самочувствие Александра Сергеевича улучшилось, он принялся подтрунивать над своими спутниками, и прежде всего досталось его спасителю: Пушкин повысил скромного штаб-лекаря Е. П. Рудыковского в должности и в паспортную книгу коменданта Горячеводска вписал его как лейб-медика, вызвав переполох у местных медицинских властей. (Себя он скромно назвал — «недоросль».)

Познакомившись с Пушкиным ближе, Евстафий Петрович похвастался перед ним стихами собственного сочинения. Александр Сергеевич тут же выдал ему дружескую эпиграмму, обессмертив имя скромного врача и незадачливого поэта:

Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых.

Два месяца пребывания Пушкина на Кавказе в кругу добрых и заботливых друзей возродили его физически и духовно.

«...Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. (Продолжаю цитировать его письмо брату.) Впрочем купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мной на острый

верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной...»

В 1829 году по дороге в Арзрум Александр Сергеевич вновь посетил Горячие воды и нашел там большие перемены. Вместо наскоро построенных лачужек, в которых размещались ванны, он увидел великолепные дома.

«Кавказские воды представляют ныне более удобностей, — отметил Александр Сергеевич, — но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался...»

Не стану задерживать внимание читателей на эпизодических недомоганиях, легких травмах и мимолетных заболеваниях, упоминание о которых можно встретить в письмах А. С. Пушкина и даже стихотворных посланиях: «В глуши, измучась жизнью постной, изнемогая животом...» — сообщал он 7 ноября 1825 года П. А. Вяземскому в шутовском послании из Михайловского.

Александр Сергеевич всегда ценил здоровье и обрадовался, услышав в Болдино, что крестьяне величают господ «титлом Ваше здоровье»: «Титло завидное, без коего все прочие ничего не значат».

Иногда ссылки на нездоровье — предлог, чтобы избежать визита или свидания.

«...Я поспешил бы придти, если бы не хромал еще немного и не боялся лестниц. Пока что я разрешаю себе бывать только в нижних этажах...» — пишет он своему преданному другу, доброй и заботливой Е. М. Хитрово, которая страстно, но без взаимности любила поэта.

Особенно часто Александр Сергеевич сказывается больным, чтобы не являться на обязательные рауты во дворец, по поводу которых как о пустой трате времени он иронизировал: «...Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься — вот уже и замена разговору...»

Однажды он таким образом не пошел поздравлять наследника престола с совершеннолетием, о чем рассказал в письме Наталье Николаевне: «репортуюсь боль-

ным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камерпажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфиородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил..»

Письмо это было перехвачено тайной полицией и передано царю. Возмущенный вопиюще-безнравственным поступком Бенкендорфа и Николая I, Александр Сергеевич отбросил всякую осторожность и с помощью тех же писем, которые, как он понимал теперь, прочитываются на самом верху, повел наступательную кампанию за элементарные человеческие права.

«Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre*. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille)** невозможно: каторга не в пример лучше», — высказался он в письме Наталье Николаевне 3 июня 1834 года и тут же указал, кому это замечание адресовано: «Это писано не для тебя; а вот что пишу для тебя». И далее повел спокойный «семейственный» разговор.

Теперь все его письма словно разделены невидимой (а иногда и видимой) чертой: одна часть — для жены; другая — для правительства, подсматривающего в заочную скважину:

«На того (Николая I. — Б. Ш.) я перестал сердиться, потому что, toute reflexion faite***, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле при-

* Буквально (франц.).

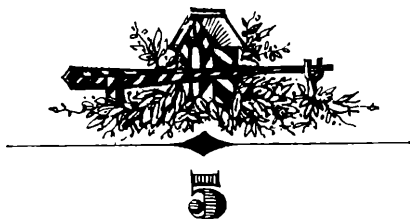
** Неприкосновенность семьи (франц.).

*** В сущности говоря (франц.).

выкнешь к — — —, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman*. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух» — это для царя и высшего света.

«...Вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: Hier Madame une telle était décidément la plus belle et la mieux mise du bal»** — это уже для жены, впрочем, о том же самом.

«Репортуясь» больным, Александр Сергеевич жаждал получить хотя бы глоток чистого воздуха. Но был период, когда, используя болезнь, он надеялся на большее.



Как это ни странно звучит, но на болезни, словно на платья и прически, существует мода. Иногда эта «мода» обусловлена широким распространением соответствующих причин, способствующих более частому возникновению того или иного недуга (речь, естественно, идет не об инфекционных и эпидемических заболеваниях), и тогда статистика диагнозов отражает объективную действительность. Но случалось, особенно в далекие времена, что некоторые диагнозы ставились неоправданно часто.

* Джентльмен (анг.).

** Вчера на балу госпожа такая-то была решительно красивее всех и была одета лучше всех (франц.).

Таким «модным» для первой половины XIX века заболеванием были аневризмы.

Что понимали под этим словом?

В И. Даль дает такое определение: «Расширение в одном месте боевой жилы (артерии); кровеная-блона».

Определение Даля требует пояснений. Артерия называлась «боевой жилой», потому что кровь в ней находится под давлением, бьет. Блона — это оболочка, все, что одевает, облегает. Блоной же во времена Даля называли желвак, уплотнение от ушиба. Таким образом, «кровеная-блона» может быть либо кровоизлиянием в результате травмы, либо уплотнением в стенке сосуда.

Надо сказать, что современное понятие аневризмы созвучно тому, о чем писал В. И. Даль. Аневризмой сегодня называют патологическое расширение просвета артерии, проявляющееся выпячиванием ее стенки; то же самое относится к аневризме сердца.

Выпячивание развивается на участке замещения эластичной сосудистой стенки рубцовой тканью. Как правило, это происходит в результате хронического воспалительного процесса, поражающего сосуды, а также атеросклеротических изменений или травмы.

Аневризмы в практике современного врача встречаются довольно редко. Думаю, что и раньше они были не так распространены, как об этом писали. Возможно, в ряде случаев диагноз «аневризма» ставился больным с варикозным расширением вен, при котором тоже образуются мешковидные выпячивания стенки сосуда, — заболевания и сегодня довольно распространенного, но, как правило, не опасного и чаще всего не требующего специального лечения.

Я сделал столь пространное вступление, потому что, как стало известно из черновика письма А. С. Пушкина на имя А. И. Казначеева, правителя канцелярии М. С. Воронцова, Александр Сергеевич страдал аневризмой: «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уж 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу предста-

вить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится»

Письмо это написано 22 мая 1824 года в связи с скорбительной для поэта командировкой в Херсонскую губернию «на саранчу». У нас нет свидетельств, что в таком виде оно было отправлено адресату. Да и не в обычаях Пушкина жалостью к себе добиваться снисхождения: «Суровый славянин, я слез не проливал». Более того, в «Воображаемом разговоре с Александром I», на писанном в шуточной, анекдотической форме, содержится серьезная мысль: Пушкин не может простить притеснителю своих обид и принять свободу из рук смилившегося монарха. В завершение аудиенции на вопрос Александра, надеялся ли поэт на его великодушие, вместо смиренного согласия «Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь...»

И хотя этот разговор воображаемый, фантазировать приходилось лишь за одну сторону.

В письме к тому же Казначееву, написанному спустя 10 дней после предыдущего, одновременно с прошением об отставке, он скажет: «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника...»

Единственное, чего я жажду, это — независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее...»

Сосланный в Псковскую губернию, он вспомнит про свой «аневризм» и попросит у Александра I разрешения выехать на лечение в Европу: «...Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции...»

Прошение царю Александр Сергеевич решил передать через своего старшего друга, покровителя и настав-

ника, поэта В. А. Жуковского. В сопроводительном письме, предназначенном Василию Андреевичу, Пушкин успокаивает его: «Мой аневризм носил я 10 лет и с божией помощью могу проносить еще года три...» И далее дает понять, почему он написал это письмо: «...Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен».

Письмо Пушкина не было передано Александру I, а по совету Жуковского, с такой же просьбой к царю обратилась мать поэта. При этом были сделаны некоторые уточнения: указано, что страдает он «аневризмом в ноге», а городом, в котором желательно было бы провести операцию, избрана Рига (здесь любопытно отметить, что в сохранившемся черновике неотправленного письма на имя Александра I А. С. Пушкин говорил о необходимости операции или продолжительного лечения по поводу аневризмы сердца).

В ответ на прошение Надежды Осиповны царь решил Пушкину «приехать в Псков и иметь там пребывание до излечения болезни».

Александр Сергеевич, узнав о «монаршей милости», прислал Жуковскому полное сарказма письмо:

«...Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволжского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей*».

Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность его величества». И объясняет, почему не пользуется разрешением: «Дело в том, что 10 лет не думав о

* А. С. Пушкин перепутал фамилию доктора: В. Всеволодов — инспектор врачебной управы — действительно был выпускником ветеринарного отделения хирургической академии и автором книг по лечению лошадей.

своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось — либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства...»

Но на этом история с «аневризмом» не кончилась: Жуковский, обеспокоенный здоровьем Пушкина и чувствующий себя в какой-то степени виноватым в том, что не смог исполнить его просьбу, сам принялся искать хорошего хирурга, который согласился бы приехать в Псков оперировать поэта. И быстро нашел такого, благо это не составляло для него большого труда: его сводная * по отцу сестра Екатерина Афанасьевна Протасова была тещей известного дерптского хирурга И. Ф. Мойера.

Е. А. Протасова попала в Дерпт — этот университетский центр Прибалтийского края, — буквально убегая от В. А. Жуковского, который был страстно влюблен в ее старшую дочь Машеньку, отвечавшую ему взаимностью. Боясь кровосмешения, Екатерина Афанасьевна поспешно выдала Машеньку за И. Ф. Мойера.

Стихи Жуковского, посвященные Маше Протасовой, относятся к самым высоким образцам русской любовной лирики:

Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?..

Вынужденный брак этот оказался счастливым, но счастье — непродолжительным: в 1823 году вскоре после родов Мария Андреевна скончалась от туберкулеза легких, оставив на попечение матери маленькую Катю

* В. А. Жуковский был незаконным сыном тульского помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи, привезенной из-под крепости Бендеры. Фамилию и отчество он получил от своего крестного отца, жившего в бунинском доме.

и другого, «взрослого ребенка» — Ивана Филипповича Мойера, который на всю жизнь сохранил преданность своей Маше. Говорят, что, умирая, он повторял имя жены, к которой уходил через 35 лет после ее смерти.

Благодаря Екатерине Афанасьевне Протасовой дом профессора Мойера стал островком русской культуры в иноязычном Дерпте. Здесь периодически гостил у сестры Жуковский, сюда вместе с поэтом Николаем Михайловичем Языковым приходил близкий приятель А. С. Пушкина, сосед его по Михайловскому Алексей Николаевич Вульф (оба они обучались в Дерптском университете). Наконец, чуть позже того времени, о котором идет речь, в доме И. Ф. Мойера сперва поселился, а потом, съехав на другую квартиру, столовался все пять лет своего пребывания в Дерпте будущий выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов. «Домашним человеком» у Мойера был также Владимир Иванович Даль — студент медицинского факультета, и братья Александр и Андрей Карамзины, и будущей писатель Владимир Александрович Соллогуб, и многие другие представители русской культуры, получавшие образование в Дерптском университете.

Все, кому доводилось бывать в этом доме, отмечали необычайную доброту и приветливость Екатерины Афанасьевны, оказывавшей покровительство молодым талантливым людям, приезжающим из России.

Имя Александра Сергеевича Пушкина, его стихи, еще даже не напечатанные, а рукописные, привозимые Василием Андреевичем Жуковским из Петербурга или Алексеем Николаевичем Вульфом прямо из поэтической столицы — Михайловского, часто звучали в гостиной этого дома. Поэтому, когда Жуковский попросил Мойера оперировать Пушкина, тот незамедлительно дал согласие ехать в Псков, чтобы спасти «первого для России поэта», как несколько высокопарно он выразился, и уже получил разрешение у попечителя учебного округа князя К. А. Ливена на отъезд.

Однако, прежде чем я продолжу рассказ о дальнейшем развитии этой в известной степени авантюрной истории, несколько слов о хирурге, которого Жуковский выбрал А. С. Пушкину.

Профессор И. Ф. Мойер был учеником знаменитого итальянского хирурга А. Скарпа, положившего начало хирургической анатомии. Вкус к этому разделу науки Мойер сумел передать Н. И. Пирогову, который написал (кстати, в том же Дерпте, на бывшей кафедре Мойера) классическую работу — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», сделавшую его имя всемирно известным. В этом руководстве для хирургов Пирогов показал оптимальные, т. е. наиболее безопасные и короткие пути, по которым скальпелем можно проникнуть с поверхности человеческого тела внутрь, чтобы легко и быстро отыскать и перевязать нужную артерию. «Хирургическая анатомия» Пирогова имела прямое отношение к методике оперирования аневризм. Но в то время, когда Александр Сергеевич впервые объявил, что страдает «аневризмом», Н. И. Пирогов только начинал учиться на медицинском факультете Московского университета.

Иван Филиппович Мойер, как его звали на русский манер, был не только учителем Пирогова, но старшим другом и восхищенным почитателем его крепнущего таланта. Когда молодой, полный замыслов и энергии Пирогов в силу ряда обстоятельств оказался без кафедры, Мойер по собственной инициативе уступил ему свое место и помог преодолеть целый ряд формальных препятствий к замещению профессорской должности.

Н. И. Пирогов в «Записках» с благодарностью вспоминает Ивана Филипповича:

«Это была личность замечательная и высоко талантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми

глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми, несколько щетинистыми волосами, с длинными, красивыми пальцами на руках, Мойер мог служить типом видного мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином. Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотою и ясностью и пластичною наглядностью изложения. Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепьяно и особенно пьес Бетховена можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепьяно, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих. Несколько близорукий, носил постоянно большие серебряные очки, которые иногда снимал при производстве операций...»

Кроме учебы у Скарпа, И. Ф. Мойер прошел большую практическую школу на войне 1812 года в одном из крупных военных госпиталей и был активно работающим хирургом, имевшим хорошую репутацию.

Ко времени его знакомства с Н. И. Пироговым он уже охладил к науке, трудных и рискованных операций избегал, хотя по мнению такого авторитетного ценителя, как Николай Иванович, еще сохранил хирургическую ловкость, не терялся и не суетился за операционным столом. Пирогов вспоминал, как мастерски Мойер произвел трепанацию черепа и удалил пулю из головы у студента, раненного на дуэли; оперированный вскоре поправился.

Приезд в Дерпт нескольких талантливых профессорских стипендиатов воодушевил И. Ф. Мойера: вместе с молодыми людьми он часами просиживал в анатомическом театре над препарированием трупов.

Но несколькими годами раньше, когда к нему обратился В. А. Жуковский с просьбой о Пушкине, имя Мойера еще с полным основанием могло быть названо в ряду имен лучших хирургов России допироговского периода.

Поэтому Жуковский не понимал, чего еще хочет Пушкин, заклинающий Мойера не приезжать в Псков: «...Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его...

Позвольте засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение, как человеку знаменитому и другу Жуковского».

Но Василий Андреевич считал, что поэт напрасно капризничает, и продолжал настаивать на приезде Мойера: «...Я было крепко рассердился на тебя за твое письмо к сестре и к Мойеру... Прошу покорнейше уважать свою жизнь и помнить, что можешь сделать в ней много прекрасного, несмотря ни на какие обстоятельства. Следовательно, вот чего от тебя требую: ...собраться в дорогу, отправиться в Псков и, наняв для себя такую квартиру, в которой мог бы поместиться и Мойер, немедленно написать к нему, что ты в Пскове и что ты дождешься его в Пскове. Он мигом уничтожит твой аневризм...»

«...Мне право совестно, что жилы мои так всех вас беспокоят — операция аневризма ничего не значит, и ей-богу первый псковский коновал с ними бы мог управиться...» — ответил ему уже рассерженный Пушкин.

Друзья упрекали его в неблагодарности. Ситуация приобретала трагикомический оборот: поэт уже всерьез боялся, что хирурга привезут вопреки его желанию. Он написал А. Н. Вульф в Дерпт: «...Друзья мои и родители вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять прислал назад эту бедную коляску. Вразумите его. Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад был с ним познакомиться...»

Пушкин был уверен, что А. Н. Вульф остановит Мойера: Алексей Николаевич был единственным, кто знал,

что никакой аневризмы нет, а есть разработанный ими совместно план бегства из ссылки через Дерпт, куда он должен попасть под видом больного.

Дальнейшее пребывание в Михайловском — в отрыве от друзей, общества, семьи, издателей — становилось невыносимым. Пушкин рвался на волю — и не только в мечтах.

Быть может, уж недолго мне
В изгнание мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться... —

записал он в альбом Прасковье Александровне Осиповой 25 июня 1825 года в надежде на успех затеянного.

Это был уже не первый вариант освобождения. Остались не реализованными планы тайного отъезда во Францию или Италию с братом Львом и побега за границу с А. Н. Вульфом в платье его слуги.

Неудача с операцией чрезвычайно огорчила поэта. Спустя еще некоторое время в письмах к друзьям он продолжал вспоминать об этом:

«...Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio libertatis* * — и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку!» — теряя всякую осторожность, писал он Вяземскому — так уж хотелось высказаться. И продолжал с грустной улыбкой: «Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском. По крайней мере могила моя будет живым упреком, и ты бы мог написать на ней приятную и полезную эпитафию. Нет, дружба входит в заговор с тиранством... выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике...

Ах, мой милый, вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хлопочут о моей *жиле*, а я об *жилье*. Каково?»

После возвращения Александра Сергеевича из ссылки

* Последним доводом за освобождение (лат.).

ки Мойер встречался с ним у Жуковского, но никаких свидетельств о том, что они возвращались к обсуждению этой истории, не сохранилось.

Здесь же следует заметить, что и в последующие годы неоднократные просьбы А. С. Пушкина о разрешении выехать за границу (в Париж, в Италию и даже в Китай с русской миссией) безоговорочно отвергались Бенкендорфом.

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убая;
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем...

Настроение этого стихотворения, несомненно, навеяно не только неудачей первой попытки сватовства к Наталье Николаевне Гончаровой.

«... Никогда еще не видал я чужой земли, — с сожалением писал Александр Сергеевич в «Путешествии в Арзрум». — Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России...»

Его стремление за границу вовсе не означало, что А. С. Пушкин хотел навсегда покинуть Россию. Об этом недвусмысленно он написал 19 октября 1836 года П. Я. Чаадаеву: «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Чтобы закончить эту главу, осталось только ответить на вопрос: случайно ли Александр Сергеевич решил выдать себя за больного аневризмой?

Полагаю, что нет.

И не только потому, что болезнь эта была «модной» и он, естественно, о ней слышал. Существенно, что Пушкин всегда мог представить доказательство имевшегося у него заболевания вен — пусть не аневризма, но «род аневризма», как он назвал его в прошении уже на имя Николая I. К прошению было приложено медицинское заключение за подписью инспектора псковской врачебной управы В. Всеволодова о том, что у Александра Сергеевича имеется «на нижних конечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кровезовратных жил (*varicositas toticus cruris dextri*)».

Аневризма считалась очень опасным заболеванием, к тому же требующим хирургического пособия. Однако оперативные вмешательства на сосудах в то время были далеко не ординарными: они выполнялись лишь единичными хирургами в университетских клиниках. Операции же на сердце не производились вовсе*, и поэтому версию об аневризме сердца Пушкин больше не развивал.

Кроме И. Ф. Мойера, можно было бы назвать еще несколько хирургов, которые имели опыт лечения такого рода больных: профессор медико-хирургической академии И. Ф. Буш и его ученик профессор Х. Х. Саломон, произведший за 25 лет работы 12 операций по поводу аневризм, лейб-медик Н. Ф. Арендт, предложивший собственной конструкции «аневризматическую иглу».

Сообщения об операциях на сосудах в прошлом веке публиковались не только в медицинских журналах, но и в общей печати, как, к примеру, сегодня печатается информация о случаях пересадки сердца и других уникальных операциях. Так, в одном из номеров журнала «Отечественные записки» сообщалось, что профессор Н. Ф.

* 9 сентября 1896 года немецкий хирург Рен впервые удачно наложил швы на раненое сердце, и больной выздоровел.

Арендт в присутствии одиннадцати «знаменитых медиков» оперировал купца Параткова, которому он «первый в свете» с успехом перевязал большую аневризму наружной подвздошной артерии. Больной был чрезмерно толстым, и операция представляла для хирурга большие технические трудности. Из специальных публикаций известно еще несколько серьезных операций Н. Ф. Арендта на кровеносных сосудах, при которых ему удалось стать, как тогда выражались, «господином случая».

Кстати, первыми, за кем бросился Данзас, когда привез раненого А. С. Пушкина домой, были Н. Ф. Арендт и Х. Х. Саломон

Но несомненно, наибольшим опытом лечения аневризм в те годы обладал другой ученик и помощник Буша, хирург-виртуоз профессор И. В. Буяльский, о котором его коллега Саломон говорил: «Если бы мне пришлось подвергнуться операции аневризмы, то я во всем свете доверился бы только двоим: Astley Cooper * и Буяльскому».

О результатах лечения аневризм в первой половине XIX века можно получить представление по отчетам Н. И. Пирогова. Зная, чего добивался он — выдающийся техник-оператор и знаток анатомии, не сложно представить себе потолок возможностей лучших хирургов тех времен. А результаты были весьма печальные: из 69 операций на крупных артериях 36, т. е. более половины, окончились неудачно, большинство этих больных умерло.

К счастью, А. С. Пушкину тогда не надо было оперироваться!

Срочная необходимость в квалифицированной хирургической помощи возникнет у него через 12 лет.

* Эстли Купер (1768—1841) — выдающийся английский хирург и анатом, лейб-медик короля и королевы.



Александра Ивановича Герцена никто не посмеет упрекнуть в отсутствии мужества. Однако он отказался принять вызов на дуэль с человеком, казнь которого была для него «нравственной необходимостью», и так объяснил свое решение: «Доказывать нелепость дуэля не стоит — в теории его никто не оправдывает... но в практике все подчиняются ему для того, чтобы доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его по ч е т н о й смертию, или тем, что делает из него почетного убийцу...»

Во время конфликта с Г. Гервигом, приславшим вызов с требованием сатисфакции, А. И. Герцену еще не исполнилось сорока лет.

Почему Александр Сергеевич не был так же благо-разумен?..

Не впервые А. С. Пушкин становился к барьеру. (Еще чаще дело не доходило до обмена выстрелами, а заканчивалось миром)

Рисунки пистолета в рукописях поэта Т. Г. Цявловская назвала «сигналами дуэли». Она насчитала шесть таких тревожных сигналов: три — в первые годы после выхода из Лицея и три — в последние годы жизни. И припомнила около 15 «дел чести».

Случалось, поединок носил трагикомический характер. Его друг поэт Вильгельм Кюхельбекер — Кюхля вызвал Пушкина на дуэль за стихотворную шутку:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И *кюхельбекерно* и тошно!

Первым стрелял обиженный Кюхельбекер. Когда он начал целиться, Пушкин закричал его секунданту Антону Дельвигу: «Стань на мое место, здесь безопаснее!» Пистолет дрогнул, и пуля пробила фуражку на голове Дельвига. Автор эпиграммы от выстрела отказался.

Современники неизменно отмечали мужественное поведение А. С. Пушкина на поединках.

В Кишиневе на дуэль с Зубовым он принес черешню и, словно один из героев его повести «Выстрел», пока в него целились, выбирал спелые ягоды и выплевывал косточки. Зубов, к счастью, промахнулся, а Александр Сергеевич от выстрела отказался, как поступил потом уже другой герой той же повести.

Не в обыкновении А. С. Пушкина было первым спускать курок. Это использовал Дантес: он выстрелил, не дойдя шага до барьера, отмеченного шинелью д'Аршиака.

Примеры мужественного поведения Пушкина столь многочисленны, что если их все вспоминать, то можно отклониться далеко в сторону.

Это — и его разговор с Николаем I после возвращения в Москву из ссылки, когда он не отрекся от только что казненных друзей, а сказал, что если бы 14 декабря оказался в столице, был бы с ними на Сенатской площади.

И его участие в боевом деле на Кавказе, когда, схватив пику убитого казака, он неожиданно для сопровождавших его офицеров бросился в кучу сражавшихся всадников. «Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке...» — вспоминал позднее генерал Н. И. Ушаков.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

«Дуновение чумы» он испытал во время пребывания в Арзруме, где специально посетил лагерь для чумных больных.

Не менее опасна была и холера. Но «холера морбус» — этот зверь, готовый забежать в Болдино и всех перекусать, как в шутовском тоне сообщал он в 1830 году в Петербург П. А. Плетневу, не очень пугала Александра Сергеевича. И только многочисленные карантинны, преградившие ему дорогу в Москву к невесте, вызывали досаду и раздражение.

«...Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту, — вспоминал близко знавший Пушкина в период его южной ссылки боевой офицер И. П. Липранди. — Не могу судить о степени его славы и поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она «в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы».

Неоконченная Александром Сергеевичем «Повесть из римской жизни», в которой много философских рассуждений о смерти, обрывается на высокой ноте Горациева стиха:

«Красно и сладостно паденье за отчизну».

Поразительным документом мужества и силы духа поэта является его последнее в жизни письмо, адресованное детской писательнице А. О. Ишимовой, которую он хотел привлечь для работы в «Современнике».

Это был ответ на полученное накануне от Ишимовой приглашение побывать у нее 27 января:

«Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам *Baggy Cognwall** — Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!».

Деловое письмо это, проникнутое уважительным тоном к товарищу по перу, дышит абсолютным спокойствием. И если бы мы не знали, что оно написано за несколько часов до дуэли, то никогда в жизни не смогли бы угадать в человеке, зачитывающемся книгой для детей, бойца, готового к кровавой схватке.

Александр Иванович Тургенев, вернувшийся из Парижа и владевший важными для Пушкина документами Петровского периода, вспоминал, что незадолго до дуэли с Дантесом часто видел поэта веселым, полным жизни и творческих планов.

«Пушкин мой сосед, — писал А. И. Тургенев почти за месяц до дуэли. — Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое было прежде столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы...».

Так же и накануне дуэли они проговорили до темноты (и наблюдательный Тургенев не заметил никаких перемен в его настроении и поведении!), после чего, как нам теперь известно, А. С. Пушкин отправился искать себе секунданта.

Об этой же способности пушкинской мысли не

* Барри Корнуолла (англ.).

пресекаться на «краю мрачной бездны» свидетельствует и другое: 26 января вечером, когда вопрос о дуэли уже был решен, он не забыл через П. А. Вяземского напомнить П. Б. Козловскому о заказанной ему для «Современника» научно-популярной статье о теории паровых машин. «Принимая сие поручение, — писал Вяземский в примечании к статье, опубликованной уже после смерти Пушкина, — мог ли я предвидеть, что роковой жребий, постигнувший его на другой день, был уже непременно отмечен в урне судьбы и что несколько часов позже увижу Пушкина на одре смерти и услышу последнее его дружеское прощание».

В день дуэли А. С. Пушкин ничем не выказывал тревожного состояния. В хронологической записке В. А. Жуковского фраза о пистолетах звучит резким диссонансом рядом со словами о радостном настроении поэта: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами...»

Не будем касаться трагических обстоятельств, приведших А. С. Пушкина к дуэли с Дантесом. Вспомним лишь условия поединка, разработанные секундантами противников. По желанию д'Аршиака, секунданта Дантеса, они были составлены в двух экземплярах на французском языке. Представляем этот текст в переводе П. Е. Щеголева:

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того, принимается, что после выстрела про-

тивникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огнем своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременно посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

Д'Аршиак предложил присовокупить к этому еще один параграф, исключаящий какие-либо объяснения между противниками, но Данзас настаивал на использовании малейшей возможности примирения.

Пушкин согласился на все условия, даже не взглянув на них.

Смертельный исход поединка был predetermined близким расстоянием между противниками и повторным обменом выстрелами в случае промаха. Однако промах для таких мастерских стрелков, какими были Пушкин и Дантес, практически исключался, а убойная сила крупнокалиберного пистолета системы Лепажя на таком расстоянии имела по меньшей мере двойную «гарантию».

Дуэли в России были запрещены еще петровским указом 1702 года; все участники поединка, включая секундантов и врачей*, подлежали суровому наказанию.

Понимая, что эта дуэль получит громкую огласку и не останется без последствий, Александр Сергеевич хотел взять секундантом иностранного подданного — слу-

* Лишь в «Уложении о наказаниях» 1845 года с врачей, присутствующих на дуэли для оказания первой помощи, снималась уголовная ответственность.

жащего английского посольства Мегенса и только, когда тот отказался, обратился к своему товарищу по Лицею К. К. Данзасу.

Выбор полковника К. К. Данзаса, по всей видимости, тоже не случаен: заслуженный офицер, получивший ранения в боях и отмеченный высокими наградами, он мог рассчитывать на снисхождение; к тому же он не делал карьеры и был человеком одиноким.

Специальным указом Николая I было определено «судить военным судом как Геккерена и Пушкина, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить о них особую записку, с обозначением также мер их прикосновенности».

Комиссия разбирала только дело Дантеса и Данзаса, так как секундант Дантеса д'Аршиак поспешно покинул Россию, а Пушкин в день опубликования царского указа скончался. О нем в решении военно-судной комиссии было сказано следующее: «...Преступный поступок... камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с Геккереном наказанию за написание дерзкого письма к министру нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю его смерти предать забвению».

Дантесу конечная инстанция военного суда определила стандартное для подобных дел наказание: «За вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, разжаловать в рядовые, с определением на службу по назначению инспекторского департамента». Однако Николаю приговор этот показался слишком суровым, и он собственноручно написал: «...рядового Геккерена, как нерусского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

Расчет Пушкина в отношении судьбы Данзаса оправ-

дался: в окончательном решении военно-судная комиссия, подвергнув Данзаса нестрогую дисциплинарную взысканию (гауптвахте), полностью реабилитировала его. И только лицейские друзья до последних своих дней не могли ему простить, что он не расстроил эту дуэль и не нашел средства сохранить жизнь поэта.

«...Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если бы я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь...» — писал из Туринска ссыльный Иван Пущин.

Отсутствие врача на месте поединка можно объяснить не только поспешностью, с которой шло приготовление к дуэли, но и нежеланием увеличивать число лиц, вовлеченных в противозаконные действия.

Дуэль состоялась в пригороде Петербурга, вблизи комендантской дачи. Биографы Пушкина прочертят потом на старой карте города его путь с Данзасом на Черную речку через Троицкий мост по Каменноостровскому проспекту и подсчитают, что от дома на Мойке до места дуэли расстояние составляет около 8 км. Поскольку это была самая короткая дорога, по ней же в карете Геккенера поэт спустя час после ранения возвратился домой.

По дороге на Черную речку у К. К. Данзаса блеснула надежда, что дуэль расстроится: на Дворцовой набережной встретили экипаж жены А. С. Пушкина. Но Александр Сергеевич смотрел в другую сторону, а Наталья Николаевна была близорука и не заметила мужа.

Знакомые раскланивались с ними, удивлялись столь поздней поездке за город, но никто не догадывался, зачем они туда ехали.

Александр Сергеевич спокойно сидел в санях. Завидев Петропавловку, пошутил: «Не в крепость ли ты везешь меня?» — «Нет, — ответил Данзас, — через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

К комендантской даче подъехали одновременно с Дантесом и его секундантом.

Чтобы укрыться от посторонних глаз и пронзитель-

ного ветра, площадку для дуэли выбрали в небольшой рощице, которая частично сохранилась до наших дней. В столетнюю годовщину здесь был установлен скромный гранитный обелиск. Но пожалуй, больше, чем этот памятник, о трагических событиях того дня напоминает расположенная поблизости станция метро «Черная речка», украшенная необычной скульптурой А. С. Пушкина М. К. Аникушин изобразил поэта в полный рост; из-под накинутой на плечи крылатки видны опущенные в иконописном перекрестье руки. За внешней отрешенностью угадывается сложнейшая гамма переживаний: и гнев, и боль, и решимость, и готовность к неотвратимому.

Зима в 1837 году была многоснежная. Секундантам пришлось проторить тропинку в глубоком, по колено, снегу. Большой снег не позволил отмерить широкие, размашистые шаги, и это еще усугубило условия поединка.

Шинелями обозначили барьеры.

Александр Сергеевич, закутанный в медвежью шубу, сидел на сугробе и спокойно взирал на приготовления.

Шли последние светлые минуты короткого зимнего дня.

Противники заняли исходные позиции и по сигналу Данзаса начали сближаться.

Пушкин стремительно подошел к барьеру и стал наводить пистолет. Это про себя писал он в «Кавказском пленнике»:

Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.

Дантес опередил его: он выстрелил, не доходя до барьера.

Пушкин упал лицом в снег.

Но еще не успело умолкнуть многоголосое эхо выстрела, как раненый, чуть-чуть приподнявшись, остановил

сошедшего с позиции противника, требуя своего права на выстрел.

У Пушкина хватило сил твердой рукой навести пистолет и спустить курок. Увидав падающего навзничь Дантеса, он воскликнул: «Bravo!» — и потерял сознание, не зная, что только ранил противника в руку, которой тот прикрывал грудь* Когда обморок прошел, Дантес был уже на ногах.

Между тем, как пишет П. Е. Щеголев, кровь из раны Пушкина «лилась изобильно». Она пропитала шинель под ним и окрасила снег.

Секунданты пытались на руках донести Пушкина до саней. Но это оказалось им не по силам. Тогда вместе с извозчиками разобрали забор из тонких жердей, который мешал проехать к тому месту, где оставили раненого.

Уложив Пушкина в сани, шагом поплелись по тряской дороге. У комендантской дачи встретили карету, которую на всякий случай прислал Геккерен-старший. Пушкина пересадили в карету, скрыв от него ее принадлежность противнику.

По дороге Александр Сергеевич сильно страдал, но не жаловался и только периодически терял сознание.

Если на месте поединка он высказал предположение, что у него повреждено бедро, то уже в карете понял, что пуля попала в живот.

«Боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев», — сказал он Данзасу, припомнив давнюю дуэль знакомого

* В судебном деле Дантеса имеется заключение штаб-лекаря Стефановича, который спустя неделю освидетельствовал раненого и констатировал у него сквозное пулевое ранение средней трети правого предплечья. «Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Рана простая, чистая, без повреждений костей и больших кровеносных сосудов. Кроме боли в раненом месте, Геккерен жалуется на боль в правой верхней части живота, где вылетевшая пуля причинила контузию...»

офицера, закончившуюся смертельным ранением в живот.

Чтобы лучше разобраться в характере ранения А. С. Пушкина, попытаемся в этом разделе его истории болезни рассмотреть траекторию пули в теле раненого.

В поединках того времени противники строго придерживались двух классических позиций: с открытой грудью и пистолетом перед собой, либо — повернувшись боком, когда правая рука с оружием частично защищает лицо и грудь.

Ш. И. Удерман, глубоко изучавший этот вопрос, считает, что Пушкин (как и Дантес) избрал вторую позицию, но в момент выстрела противника еще не успел довести тело до точного полуоборота. Это и определило проникновение пули кнутри от крыла правой подвздошной кости.

На первоначальном отрезке своего пути пуля благополучно миновала жизненно важные органы, пройдя ниже почки и позади петель кишечника. Затем, ударившись о крыло правой подвздошной кости с внутренней стороны, скользнула по его вогнутой поверхности, отщепляя острые мелкие осколки, и, раздробив крестец, прочно засела в нем.

Повреждение костей таза с их богатыми нервными сплетениями, по-видимому, и создало у Пушкина впечатление, что пуля попала в бедро.

После ранения Александр Сергеевич потерял много крови. Но это не было кровотечение из крупного сосуда, иначе он, скорее всего, погиб бы на месте дуэли. Правда, В. И. Даль в записке о «Вскрытии тела А. С. Пушкина», к которой мы еще не раз будем возвращаться, указывает как на вероятный источник кровотечения на повреждение бедренной вены.

С Владимиром Ивановичем можно поспорить.

Бедренная вена лежит вне траектории полета пули. Сам Даль точно локализовал место ранения: «Пуля про-

била общие покровы живота в двух дюймах* от верхней, передней оконечности чресальной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны...»

Он говорит о кровотечении из бедренной вены не категорично, а предположительно: «...вероятно из перебитой бедренной вены», тогда как это можно было установить наверняка не только при вскрытии, но и при перевязке раны.

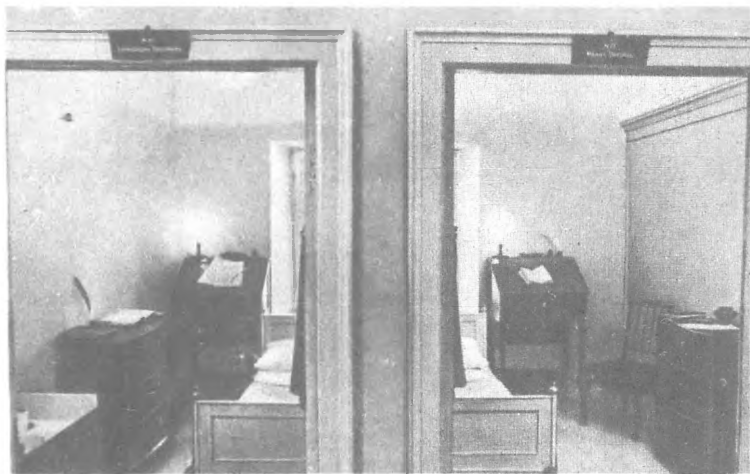
Причина ошибки Даля, кажется, понятна.

Владимиру Ивановичу как другу покойного достались на память два бесценных подарка: перстень с изумрудом и черный сюртук, о котором П. И. Бартенев записал со слов Даля следующее: «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту *выползину* я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спорили с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны».

В 1856 году И. И. Пущин, возвращаясь из сибирской каторги, посетил в Нижнем Новгороде В. И. Даля, который показал ему простреленный сюртук Пушкина. На сюртуке против правого паха была небольшая, с ноготок, дырочка от пули, которая, по-видимому, и навела Даля на мысль о ранении бедренной вены.

Однако В. И. Даль не учел, что, целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше, Александр Сергеевич поднял правую руку, а вместе с ней, естественно, полезла кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на одежде и раны на теле позволяет определить, как высоко была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целился в голову своего противника.

* 5,05 см.



*Лицей, комнаты
А. Пушкина
и И. Пущина*



*И. И. Пущин.
С гравюры
неизвестного
художника*

Пушкинский кабинет ИРЛИ



*К. Н. Батюшков.
С рисунка О. Кипренского*

*В. А. Жуковский.
С литографии
Е. Эстеррейха.*

*На портрете подпись:
«Победителю-ученику от
побежденного учителя
в тот высокоторжест-
венный день, в который
он окончил свою поэму
«Руслан и Людмила»,
1820, март 26.
Великая пятница»*





*Нащокин Т. В.
С рисунка Мазера*



*А. И. Тургенев.
С гравюры П. Виньерона*

Пушкинский кабинет ИРЛИ



А. С. Пушкин. С гравюры Т. Райта



*Е. А. Карамзина.
С портрета Димона*



*П. А. Вяземский.
С портрета П. Соколова*



*Дом А. С. Пушкина
в Михайловском.
Современная фотография*



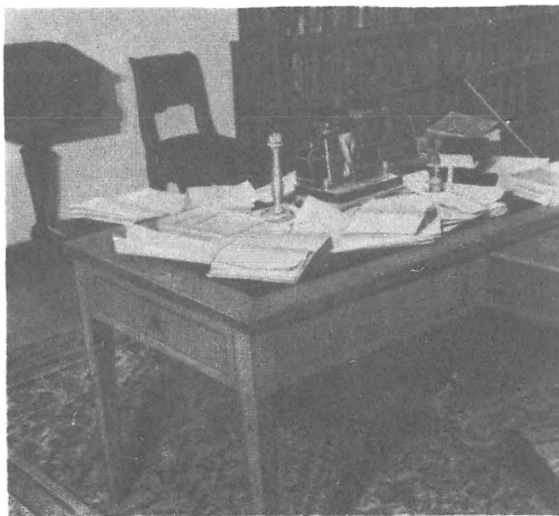
А. С. Пушкин. С портрета О. А. Кипренского



А. С. Пушкин. С гравюры Н. И. Уткина



*Дом на Мойке.
Последняя
квартира
А. С. Пушкина.
Современная
фотография*



*Письменный
стол в кабинете
А. С. Пушкина*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

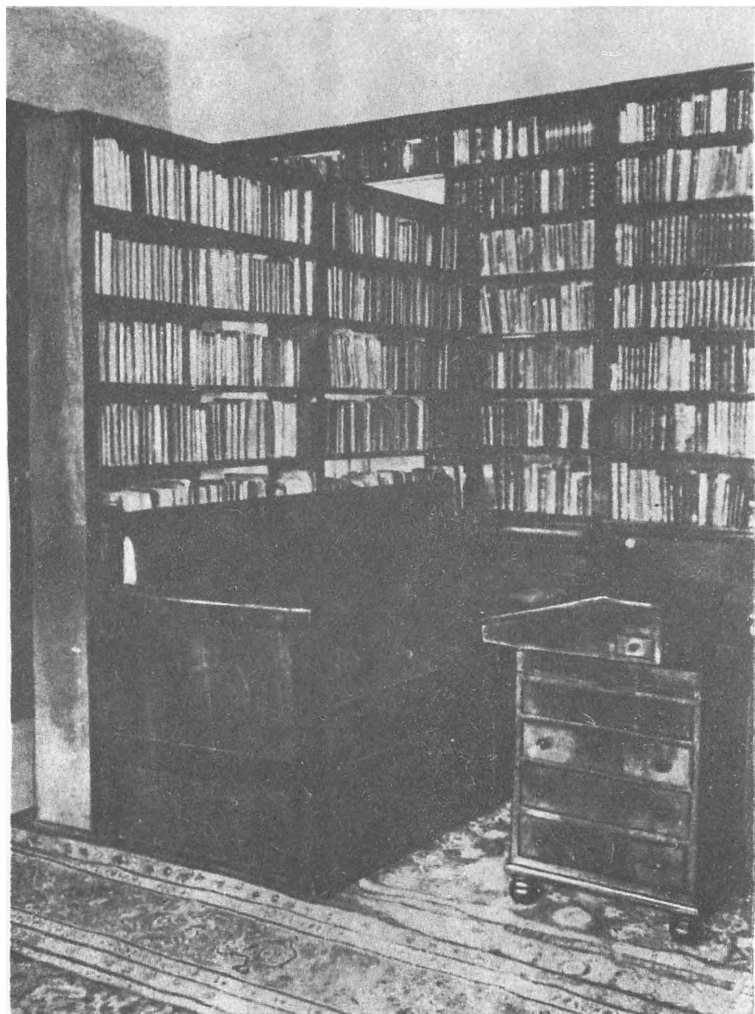


*Дуэль А. С. Пушкина
с Дантесом.
С картины А. Наумова*



Данзас К. К.

Пушкинский кабинет ИРЛИ



*Кабинет А. С. Пушкина
Пушкинский кабинет ИРЛИ*



В. И. Даль



*Н. Ф. Арндт.
С литографии
А. Васильевского*



В. Б. Шольц



А. С. Пушкин в гробу. С гравюры Ф. А. Бруни

Наталья Николаевна Пушкина, съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая о кончинѣ супруга ея, Двора Е. И. В. Камеръ - Юнкера Александра Сергѣевича Пушкина, послѣдовавшей въ 29-й день сего Января, покорнѣйше просить пожаловать къ отпѣванію тѣла его въ Исакиевскій Соборъ, состоящій въ Адмиралтействѣ, 1-го числа Февраля въ 11 часовъ до полудня.

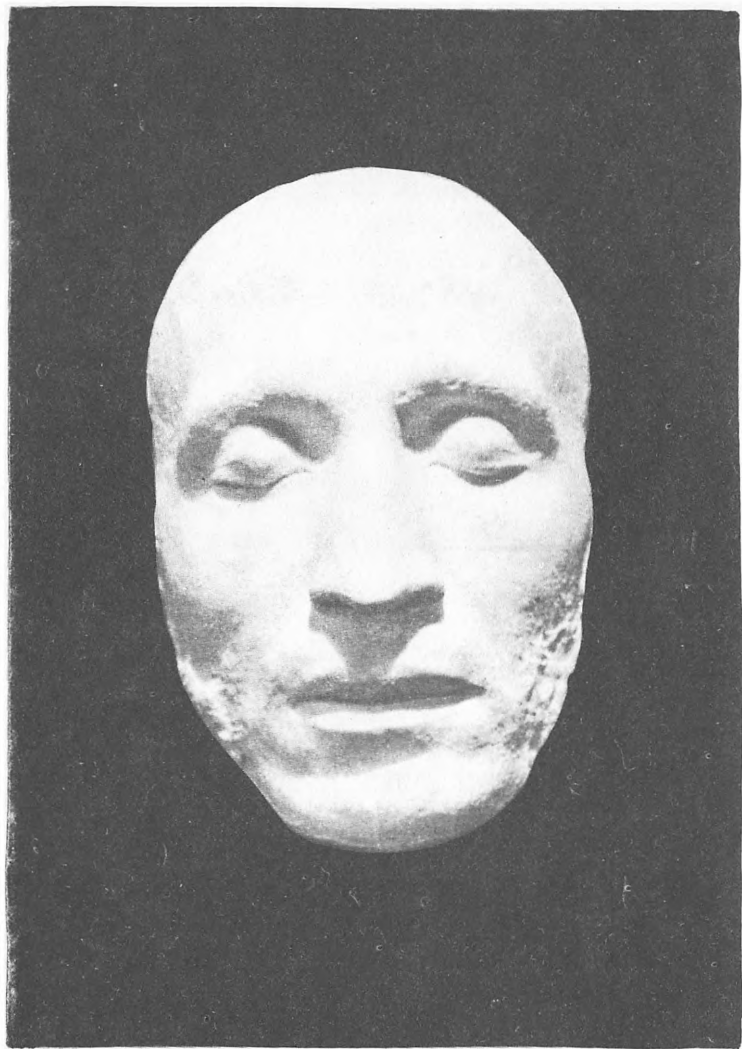
Пригласительный билет
на отпевание А. С. Пушкина

*Почивъ Поэтъ, — невольникъ гести,
мать, оклеветанникъ савойи
о свинцовъ въ грудь и каменъ мести,
попыхнулъ въ сердце головой.*

Автографъ начальныхъ строкъ стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»

Посмертная маска А. С. Пушкина.
Скульпторъ С. И. Гальбергъ

Пушкинскій кабинет ИРЛИ



Пушкинский кабинет ИРЛИ



*Обелиск на месте дуэли
Пушкинский кабинет ИРЛИ*



*Пушкин — ребенок.
С миниатюры неизвестного художника*



*Надежда Осиповна Пушкина,
мать поэта. С миниатюры
Ксавье де Мэстра*



*Сергей Львович Пушкин,
отец поэта.
С рисунка К. Гампельнс*



М. Я. Мудров



И. В. Буяльский

Пушкинский кабинет ИРЛИ



Н. И Пирогов



Х. Х. Саломон

Пушкинский кабинет ИРЛИ



И. Ф. Мойер



Н. Ф. Арндт
Пушкинский кабинет ИРЛИ



*А. С. Пушкин.
С акварели П. Ф. Соколова*

Пушкинский кабинет ИРЛИ



*Наталья Николаевна Пушкина.
С акварели А. П. Брюллова*



Автопортреты А. С. Пушкина

В шесть часов вечера, уже затемно, смертельно раненного поэта привезли домой. А. С. Пушкин нашел еще силы успокоить Наталью Николаевну и переодеться. Данзас поспешил за доктором.



Не просто найти хирурга в вечернем Петербурге. Первым, на кого натолкнулся Данзас в метании по квартирам врачей и госпиталям, был крупный специалист по родовспоможению акушер В. Б. Шольц. Он понял Данзаса с полуслова и пообещал сейчас же привести к Пушкину хирурга.

Действительно, он вскоре приехал с Карлом Задлером. О серьезности ранения Пушкина Шольц уже слышал не только от Данзаса, но и от своего коллеги, который только что успел перевязать руку Дантеса.

Карл Задлер был главным врачом придворного конюшенного госпиталя, основанного в конце XVIII века для службы царского двора. Занимался он хирургией, но, судя по воспоминаниям знавшего его Н. И. Пирогова, хирургом был весьма средним.

К. Задлер проявлял активный интерес к истории России. В 60-е годы им было опубликовано несколько работ о различных деятелях эпохи Петра I и Екатерины II. Но Задлер оказался человеком недалеким, он не оценил личности А. С. Пушкина, не понял, что живая

история сама шла к нему в руки, и не оставил никаких литературных следов об этом своем врачебном визите.

В. Б. Шольц, в отличие от него, написал бесхитростные, почти протокольные воспоминания, которые, несмотря на погрешности стиля (именно так, на ломаном русском языке, он, сын прусского ротмистра, окончивший курс медицинских наук в Дерптском университете, и изъяснялся в жизни), создают представление не только о беспомощности медиков, но и о мужестве А. С. Пушкина, желавшего узнать неприкрытую правду о своем состоянии.

Вот несколько строк оттуда:

«...Больной просил удалить и недопустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: «плохо со мною». — Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови — скажите мне откровенно, как вы рану находили?»

Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная.

«Скажите мне — смертельна?»

Считаю долгом Вам это не скрывать, — но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

«Je vous remercie, vous avez agi en honneur homme envers moi — (при сем рукою потер себе лоб). — Il faut, que j'arrange ma maison»*. — Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет?»

* «Благодарю Вас, что Вы сказали мне правду как честный человек... Теперь займусь делами моими»,

Я осмотрел рану, — но нашлось, что мало — и наложил новый компресс.

Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?

«Прощайте друзья!» (сказал он, глядя на библиотеку).

«Разве Вы думаете, что я часу не проживу?»

О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть...»

Прервем на время рассказ доктора Шольца и попытаемся представить, кого в этот критический момент хотел бы видеть около себя Пушкин.

Круг его друзей был чрезвычайно широк. Однако со многими из тех, кто ему был бы необходим в эти минуты, встретиться было невозможно: «Иных уж нет, а те — далеко...»

Безвременно ушел Антон Дельвиг, и, оплакивая его, Александр Сергеевич писал Плетневу: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». В 1831 году, отмечая «святую годовщину» Лицея, Пушкин пророчески говорил:

...И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утёкший гений...

В последние тяжкие часы жизни Пушкин вспоминал двух других верных друзей юности — Ивана Пущина и Ивана Малиновского — и сожалел, что их нет рядом: «Мне бы легче было умирать», — признался он.

Александр Сергеевич удовлетворенно воспринял известие о приходе Петра Александровича Плетнева. Плет-

нев был его неизменной опорой в литературных и издательских делах. Петр Александрович писал, что он был для Пушкина «и родственником, и другом, и издателем, и кассиром» Именно ему Александр Сергеевич посвятил «Евгения Онегина».

Пушкину захотелось проститься с Петром Андреевичем Вяземским и Александром Ивановичем Тургеневым — людьми чрезвычайно близкими ему по литературным интересам, духу, образу мыслей. С ними на протяжении всей сознательной жизни его связывала прочная и глубокая дружба.

Но первая его мысль после вопроса Шольца, кого он хотел видеть, была о Жуковском.

Василий Андреевич относился к категории людей, не любить которых нельзя. Его отличало бескорыстие, самоотвержение, самоотречение. Кто-то очень верно назвал его самым добрым человеком в русской литературе. «Пленительной сладостью» обладали не только его стихи, но и обыкновенные слова, идущие из глубины его небесной, ангельской души, как говорили о нем его друзья. Один вид старого друга успокаивал Пушкина.

«...Я бы желал Жуковского», — записал его просьбу Шольц и без перехода снова вернулся к медицинским наблюдениям:

«Я трогал пульс, нашел руку довольно холодную — пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении, вышел за питьем и чтобы послать за г-м Жуковским. Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон — и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку».

Главный вопрос, который возникает после знакомства с запиской Шольца: надо ли было информировать Пушкина о смертельной опасности ранения?

Вопрос этот не простой.

«...Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще

на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку...» — писал Александр Сергеевич жене летом 1834 года

Проблема материального обеспечения семьи не давала покоя поэту. Тема эта периодически возникала в его переписке с Натальей Николаевной

«...У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны»

Но до поединка с Дантесом он так ничего радикального и не придумал, хотя в конце 1836 года предпринял даже попытку отдать в уплату долга свое нижегородское имение.

Однако у него дома было сосредоточено колоссальное богатство — полный стол неопубликованных произведений, которыми надо было распорядиться

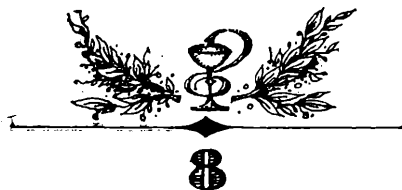
Еще надо продиктовать долги, на которые нет ни векселей, ни заемных писем.

Еще — облегчить участь секунданта.

И еще возникал целый ряд неотложных дел, которых никому нельзя было перепоручить

Но Шольц некатегоричен в своем прогнозе. Он советовал выслушать более авторитетные мнения.

Самым большим авторитетом среди врачей, приехавших к А. С. Пушкину, пользовался лейб-медик Н. Ф. Арендт, взявший на себя руководство лечением раненого.



Обнаружив записку Данзаса, Н. Ф. Арендт тут же сел в еще не успевшую отъехать от крыльца карету, запряженную парой в шорах, и поторопил кучера к дому Волконской на Мойке, где его с нетерпением ждали.

Скинув на руки камердинеру шубу, остался в своем форменном сюртуке с «Владимиром» на шее. Вынужденный по роду службы бывать при дворе, Николай Федорович постоянно носил эту форму — не самую удобную для общения с больными.

Кивком поздоровался со всеми и молча подошел к постели Пушкина.

Тревожные взоры были устремлены на знаменитого доктора, склонившегося над раненым поэтом.

Многоопытный хирург, оказывавший помощь раненым в 30 боевых сражениях, он сразу оценил безнадежность положения.

Привычная «маска» врача — добродушная улыбка — сползала с его круглого лица.

Пушкин, этот пронизательнейший из людей, мог и не задавать вопроса. Но он спросил, что думает Николай Федорович о его ранении. И убеждал отвечать откровенно, так как любой ответ его не испугает. Ему необходимо знать правду, чтобы успеть сделать важные распоряжения.

А. Аммосов со слов К. К. Данзаса записал эту сцену:

«Если так, — ответил ему Арендт, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды».

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

«Штука скверная, он умрет».

Однако прежде, чем уйти, Арендт сделал простейшие назначения больному: абсолютный покой, холод на живот и холодное питье, что тут же принялись исполнять, благо была зима и льда было предостаточно.

Возможно, тогда же, боясь усилить внутреннее кровотечение, он отменил зондирование раны

Манипуляция эта заключалась в том, что хирург, не расширяя входного отверстия пулевого канала, с помощью специальных пулеискателей (род пинцетов или зажимов различной величины и формы) пытался извлечь пулю, о расположении которой имел самое смутное представление. Как правило, он часами копался в ране, заражая ее и причиняя больному невероятные страдания.

Из мемуарной литературы известно, что Задлер ушел за инструментами; однако никто не указывает, что они были пущены в ход. Если кто и мог запретить эту общепринятую в то время манипуляцию, то только такой авторитет, как Арендт. Полагаю, что так оно и было.

Н. Ф. Арендта как специалиста могут характеризовать следующие вехи его биографии.

Имя его, начертанное золотыми буквами, красовалось на самом верху мраморной доски лучших выпускников Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую он закончил в 1805 году.

В 1821 году Н. Ф. Арендту — первому из врачей в истории русской медицины — было присуждено почетное

звание доктора медицины и хирургии без производства каких-либо экзаменов — «за усердную службу и совершенные познания медицинских наук, оказанные им при многократных труднейших операциях», как было записано в аттестации.

Статьей Н. Ф. Арендта об удачном случае перевязки сонной артерии (одном из первых не только в России, но и в Европе) в 1823 году открылся первый номер только начинавшего издаваться «Военно-медицинского журнала», сыгравшего впоследствии огромную роль в подготовке и консолидации национальных хирургических кадров.

Предки Н. Ф. Арендта переселились в Россию из Польши еще при Петре I. Медицинская специальность стала потомственной в обширном семействе Арендтов, и на протяжении почти двух веков многие достойные врачи носили эту фамилию. Уже в наше время оставил о себе добрую память известный нейрохирург, один из ближайших учеников академика Н. Н. Бурденко, профессор Андрей Андреевич Арендт. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял крупнейший нейрохирургический госпиталь, дислоцированный в Казани — городе, где жил первый лекарь в роду Арендтов — Федор Иванович; здесь же в 1785 году появился на свет Николай Федорович.

Николай Федорович Арендт начинал свою хирургическую карьеру в качестве полкового доктора. Участвуя в многочисленных сражениях, которые вела Россия в 1806—1814 годах, пройдя от Москвы до Парижа, он закончил войну в должности главного хирурга русской армии во Франции.

Оставаясь несколько лет за рубежом, Арендт своим искусством хирурга и гуманным отношением к больным снискал уважение не только соотечественников, но и врачей Франции. Так, профессор Мальгень, президент Парижской медицинской академии, особенно прославившийся в диагностике и лечении переломов, через много

лет вспоминал в медицинской печати успехи Арендта при лечении огнестрельных ранений конечностей. А руководитель медицинской службы французских армий профессор Перси, когда Арендт покидал Париж, отправил вслед ему такую записку: «...мы свидетельствуем, что он проделал много важных и опасных операций, из которых большинство были полностью удачными; к высокому уважению, которое вызывают его заслуги, многое приносят его личные и моральные добродетели, и мы считаем себя счастливыми выразить это доктору Арендту при возвращении к главным силам русской армии».

В Петербурге Николай Федорович быстро стал одним из самых популярных хирургов. Как указывает его биограф Я. Чистович, он буквально не вылезал из своей кареты, в которой разъезжал по вызовам. И когда однажды потребовалась квалифицированная помощь Николаю I, к нему пригласили Арендта. Император поправился, а 44-летний хирург получил должность лейб-медика. Было это в 1829 году.

На этой должности он продержался 10 лет и ушел с нее, еще продолжая активную медицинскую деятельность.

По мнению Н. И. Пирогова, Арендт в недостаточной степени обладал теми качествами, которые необходимы для успешной службы при дворе, чем резко отличался от его преемника профессора Мандта — карьериста и царедворца.

«Н. Ф. Арендт был человеком другого разбора», — сказал в своих «Записках» Н. И. Пирогов.

Кстати, когда умирал раненый Пушкин, Мандт уже набирал силу при дворе, и великая княгиня Елена Павловна через Жуковского предлагала его услуги: «...я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Мандтом, который столь же искусный врач, как оператор. Если решаться на Мандта, то ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направлю...»

Мандта не пригласили, потому что полностью полагались на Арендта.

Звание Арендта — придворный медик — не должно нас смущать. Нельзя считать, что приставка «лейб» всегда была равноценна низким нравственным качествам врача. Один из примеров тому — лейб-медик последнего русского императора профессор С. П. Федоров, имя которого в ряду выдающихся отечественных хирургов стоит рядом с Н. И. Пироговым

Но продолжим воспоминания Пирогова об Арендте. Им приходилось часто встречаться зимой 1835—1836 года: Николай Иванович много оперировал в старейшей Обуховской больнице, а главным консультантом в ней был Н. Ф. Арендт, причем работал он здесь безвозмездно. Кстати, в 1845 году, когда Николай Федорович отошел от большой хирургии, его место в Обуховской больнице занял Пирогов.

«...Нелюбимый вздорным баронетом Вилье *, молодой Арендт прокладывал сам себе дорогу на военно-медицинском поприще, — писал Николай Иванович. — В молодости и средних летах он был предприимчивым и смелым хирургом, но искусство его еще не основанное на прочном анатомическом базисе, не выдерживало борьбы с временем...».

Дефекты своего образования понимал и сам лейб-медик, который, добившись для Пирогова царского разрешения на чтение курса хирургической анатомии для врачей Обуховской больницы, не пропустил ни одной его лекции и демонстрации операций на трупах чем очень удивил и растрогал молодого профессора.

Чтобы быть до конца точными отметим, что выска-

* Вилье длительное время занимал должность Главного военно-медицинского инспектора армии и директора медицинского департамента Военного министерства. Кроме того, был президентом Медицино-хирургической академии.

звания Пирогова об Арендте иногда противоречивы и непоследовательны. Ставя его на один уровень с такими всемирно известными хирургами, как Купер и Эбернети, он может в другом месте своих «Записок» назвать его «представителем врачебного легкомыслия» и заявить, что «ни разу не слыхал от Н. Ф. Арендта научно-дельного совета при постели больного».

Но «при постели больного» они встречались главным образом в Обуховской больнице в ту пору, о которой Н. И. Пирогов со свойственной ему самокритичностью позднее писал: «... — как это всегда случается с молодыми хирургами — был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев. Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благоприятных исходов и счастливых результатов».

Возможно, тем врачом, который пытался его отговаривать от рискованных операций, и был Арендт. Ведь по действовавшим тогда правилам ни одна операция не могла быть выполнена без разрешения консультанта. Не исключается и другой вариант: упрек в легкомыслии мог быть вызван сожалением, что старший и более опытный коллега не останавливал его в безнадежных случаях.

Но это все же детали. Для нас важно другое: что такой нелицеприятный судья, как Н. И. Пирогов, назвал Арендта в числе первых среди «дельных представителей медицины и хирургии» Петербурга 30-х годов.

В 1855 году медицинская общественность торжественно отметила 50-летие врачебной деятельности Николая Федоровича Арендта, которому было присвоено символическое звание «Благодушного врача».

Поскольку сегодня слово «благодушие» имеет некоторый иронический оттенок, откроем словарь Даля и обратимся к первоначальному смыслу: «доброта души, любовные свойства души, милосердие, расположение к

общему благу, добру, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение».

В свете сказанного об Н. Ф. Арендте возникает естественный вопрос: как мог он, искусный и добрый доктор, оставить Пушкина без активной медицинской помощи (нельзя же всерьез относиться к лечению холодом), к тому же сообщить ему правду о безнадежности положения?

Именно такого рода обвинения были предъявлены Н. Ф. Арендту спустя много лет после гибели А. С. Пушкина. При этом невольно новейшие принципы ведения подобных больных были перенесены в пушкинские времена без учета уровня хирургической культуры прошлого.

Чтобы нам не впасть в такую же ошибку, вспомним несколько страниц из истории медицины.

Опустошительные войны начала XIX века выдвинули на первый план интересы военной хирургии и, в частности, вопросы лечения ран.

В отчетах ведущих хирургических клиник воюющих стран можно найти интересную информацию об исходах ампутаций конечностей, трепанаций черепа. И совершенно отсутствуют сведения о результатах лечения раненых в живот и грудную клетку, словно таких ранений не было вовсе.

В послевоенное время к этому перечню крупных операций добавились перевязки сосудов по поводу аневризм и исключительно редко — грыжесечения, которые давали огромную смертность.

«Грыжесечения принадлежат к труднейшим и опаснейшим операциям, — писал в своем руководстве по хирургии, вышедшем в 1835 году, профессор Х. Х. Саломон, — так как для ее производства требуется не только точное знание анатомии, но особенная опытность, спо-

койствие духа, осмотрительность, а иногда даже предприимчивость в действиях оператора».

Знаменитый профессор, несомненно, переоценивал значение индивидуальных способностей хирурга для исхода этого вмешательства. В наши дни грыжесечение считается рядовой операцией, и ее успешно выполняют даже начинающие врачи. Между тем сам великий Н. И. Пирогов в 1852 году в числе 400 операций сделал лишь пять грыжесечений, из которых три закончились смертью больных от гнойных осложнений.

Я так часто обращаюсь к имени Н. И. Пирогова, потому что в истории отечественной хирургии он сыграл решающую роль. Своими трудами он дал небывалый толчок развитию русской медицинской мысли, а многие идеи, высказанные им на заре развития хирургии, не стареют и по сей день.

Так вот, по мнению Н. И. Пирогова, изложенному им в фундаментальном руководстве «Основы военно-полевой хирургии», не рекомендовалось раненому в живот вскрывать брюшную полость и даже вправлять обратно выпавший наружу сальник. Нарушение этого правила вело к развитию воспаления брюшины (перитониту) и смерти больного.

Еще долго после гибели Пушкина операции на органах брюшной и грудной полости будут находиться под запретом, и поэтому в книге М. Лахтина «Большие операции в истории хирургии», выпущенной в 1901 году, они совершенно не найдут отражения.

Операции на брюшной полости для предотвращения «худых приключений», как в те времена именовались осложнения, требуют соблюдения целого ряда условий.

Во-первых, эффективной борьбы с болью.

Но лишь через 10 лет после смерти А. С. Пушкина появился эфирный наркоз.

Во-вторых, борьбы с раневой инфекцией.

Но великому английскому хирургу Дж. Листеру, создавшему учение об антисептике, исполнилось лишь 10 лет, когда умирал наш Пушкин, а открывший пенициллин А. Флеминг еще не родился.

Чтобы успешно выполнить операцию, которая требовалась Пушкину, — удалить засевшую в крестцовой кости пулю, должно было пройти еще без малого шесть десятилетий. В 1895 году Рентгеном были обнаружены особые лучи, впоследствии названные его именем. В 900-е годы, благодаря работам Ландштейнера о группах крови, была разработана методика безопасного переливания крови, что значительно расширило возможности хирургического лечения раненых.

Однако здесь не лишне будет заметить, что первый случай удачного переливания крови был осуществлен в Петербурге еще в пушкинские времена: 8 апреля 1832 года (в пятницу на Страстной неделе, как было указано в отчете) младший городской акушер Вольф, приглашенный на квартиру к бедной женщине, погибающей от послеродового кровотечения, в отчаянии решил прибегнуть к операции переливания крови и тем самым спас жизнь матери большого семейства, хотя, как выяснилось позже, совершенно случайно.

Событие это прочно вошло в историю отечественной медицины; но недавно доктору А. В. Шабунину удалось внести уточнение: автора первого удачного переливания крови звали Андрей Мартынович Вольф, а не Г. Вольф, как писали до сих пор. Буква «г» пристала к его фамилии как сокращение от «господин».

Но вернемся к нашей истории болезни.

Итак, многоопытный Н. Ф. Арендт отказался от мучительной и бесперспективной операции. Это его решение соответствовало золотому гиппократовскому правилу: «При лечении болезней надо всегда иметь в виду принести пользу или по крайней мере не навредить»

Скорее всего выжидательная тактика Н. Ф. Арендта и его пессимистический прогноз совпали с мнением про-

фессоров Х. Х. Саломона и И. В. Буяльского, в тот же вечер осмотревших А. С. Пушкина и больше не привлекавшихся друзьями и родственниками к лечению. Из знаменитых российских хирургов не консультировал Александра Сергеевича только Н. И. Пирогов, находившийся в Дерпте, но и он вряд ли что-либо смог бы предложить.

Я только что привел одну из максим Гиппократата, которой придерживался Н. Ф. Арендт. Но есть еще и другое — не менее известное его правило, которое Арендт счел возможным нарушить:

«Окружи больного любовью и разумным утешением; но главное, оставь его в неведении того, что ему предстоит, и особенно того, что ему угрожает».

Почему он не обнадежил смертельно раненного поэта?

Не будем возвращаться к возникшей перед Пушкиным необходимости выполнения целого ряда неотложных дел.

Главная причина, по-видимому, не в этом.

Арендт, судя по всему, отдавал себе отчет в том, что за пациента ему послала судьба *. И именно поэтому не посчитал себя вправе дать Пушкину ложные надежды на возможное исцеление.

Каждый человек живет, болеет, выздоравливает и уходит из жизни по-своему.

Выдающийся биолог Г. Мендель, установивший законы наследственности, тяжело заболев, потребовал от медиков ясного ответа о состоянии своего здоровья. Узнав смертельный диагноз, резюмировал: «Естественная неизбежность».

Таких примеров — исторических и личных врачебных, когда люди воспринимают смерть как естественную неизбежность, можно привести великое множество.

* Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что он днем и ночью посещал больного, которому ничем существенным не мог помочь. Жуковский записал, что Арендт навещал Пушкина по 6 раз днем и несколько раз ночью.

Отношение к смерти в известной степени служит мерилом не только человеческого мужества, но и мудрости.

Александр Сергеевич в своей поэзии говорил о смерти спокойно и даже легко, без надлома:

...Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!..

Это спокойствие и просветленная грусть основывались не на вере в загробную жизнь. А. С. Пушкин не был религиозен. Еще в 1824 году в письме, перехваченном полицией и послужившем поводом к его михайловской ссылке, он признавался, что разуверился в существовании бога и бессмертии души: «Читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. — Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur *, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная».

Библейские мотивы в творчестве Пушкина не более чем традиционные сюжеты, которые он гениально поворачивал в нужном ему направлении. Не зря в незавершенной статье о русской литературе он вспомнил о религии как о «вечном источнике поэзии у всех народов».

Выполнение им христианского обряда перед смертью, как это убедительно показано многими пушкинистами, было вынужденным, производилось по требованию царя, переданному через Н. Ф. Арендта: этим он обеспечивал благополучие семьи.

* Что не может быть существа разумного, творца и правителя (франц.).

Философское отношение Александра Сергеевича к смерти является результатом глубокого убеждения, что нить жизни с его исчезновением не оборвется, а будет продолжена «младым, незнакомым» племенем, появление которого он приветствовал. Мысль о смерти неотделима у Пушкина от сознания вечного движения жизни, закономерности смены поколений:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей бездумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлеть,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Эти думы о смерти, не покидающие его, не отравляли сердце горечью. «...Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы, — писал он П. А. Плетневу в июле 1831 года. — Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчишки станут повесничать, а девочки сентиментальничать... были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...»

А. С. Пушкин не был ни пессимистом, ни оптимистом. «Он верил только в правду бытия, — заметил однажды известный советский критик Лев Озеров. — Он шел не от категории чувств, а непосредственно от них самих»...

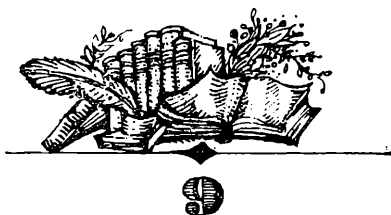
Однако следует ли нам сегодня осуждать врачей, не скрывших правду от раненого поэта?

Я полагаю, что нет.

Незаурядность личности Пушкина не позволила им прибегнуть к утешительной лжи.

В неоконченной «Повести из римской жизни» Александр Сергеевич вложил в уста Петрония такие вещи слова: «... мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти.»

Этой откровенностью врачи невольно дали возможность проявиться стойкости пушкинского духа и на последнем этапе его нелегкого жизненного пути. Вся история болезни Пушкина представляет собой протокол мужества.



Пушкин обдумывал план действий на несколько часов вперед — на большее теперь нельзя было загадывать.

Первой его заботой была жена: ее надо было подготовить к неизбежному исходу, а не объявлять сразу, как получилось с ним, — она такого не вынесет. Еще надо снять с нее груз ответственности за происшедшее, иначе будет казнить себя до конца дней.

Книги со всех сторон обступали его. Он смотрел на их разноцветные корешки и думал.

Через 100 лет некоторые хирурги упрекнут врачей и домочадцев Пушкина в том, что в большой квартире не нашли для него другого места, кроме кабинета, резонно полагая, что «пыль веков» не благоприятствует заживлению раны.

Александр Сергеевич мог бы ответить им, как сказал в статье о Вольтере: «...настоящее место писателя есть его ученый кабинет...»

Книги сейчас действовали на него лучше любого успокоительного. Их человеческие души, стиснутые плотной кожей обложек, тут же оживали, лишь стоило взять их в руки.

Н. Ф. Арендта сменил доктор И. Т. Спасский. Александр Сергеевич обрадовался ему. Спасский на протяжении последних нескольких лет был его домашним врачом. Они были почти ровесники (доктор всего на три года старше). Происходил Спасский из купцов, но от образа жизни своих предков сохранил только хлебо-

сольный дом. Случалось, Пушкин бывал у него в гостях без какого-либо медицинского повода.

— Что, плохо? — спросил Александр Сергеевич, подавая руку. Ладонь у него была непривычно вялая, ослабленная.

Иван Тимофеевич попытался возразить, что известны случаи, когда больные поправляются, и хотел привести пример, но Пушкин не дал ему договорить, махнул рукой, показывая, что трезво оценивает свое положение.

— Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете...

В этой его просьбе не было противоречия с тем, о чем он только что просил Арендта. Просто он понимал, что Спасский с его чуткостью и знанием особенностей характера Натальи Николаевны сумеет смягчить удар, сделает это лучше, чем кто-нибудь другой.

В воспоминаниях Данзаса о последних днях поэта есть замечание, что Пушкин не питал доверия к Спасскому. Данзас это ничем не мотивирует. С другой стороны, можно привести целый ряд высказываний самого А. С. Пушкина, из которых следует, что и он и Наталья Николаевна глубоко уважали своего домашнего доктора и внимательно прислушивались к его советам. В одном из писем Александр Сергеевич пригрозил жене, что, если она не будет оберегать себя, он пожалуется Спасскому, у которого должен обедать. В другом письме его интересовало мнение Спасского о болезни дочери. Он переслал жене инструкцию Спасского и советовал «ступить по одной» и т. д.

Из переписки Екатерины Николаевны Гончаровой с братом Дмитрием мы узнаем, что осенью 1835 года она серьезно болела и поправилась только благодаря стараниям доктора Спасского. Екатерина Николаевна сообщает, что Иван Тимофеевич несколько раз лечил также сестру Александру и всю прислугу Пушкиных — и, что

очень существенно в ее информации, всех лечил бесплатно.

«Я чувствую, что я ему очень обязана, и однако не знаю, как отблагодарить его за свое лечение», — пишет Екатерина Николаевна.

Такая возможность видится ей в том, чтобы, исполнив просьбу Спасского о приобретении ему за 500 рублей двух лошадей на Яропольском конезаводе («чтобы ходили во всякую упряжь, не моложе 5 лет и не старше 7»), денег с него не брать. Об этом она и просит брата.

Но Иван Тимофеевич, скорее всего, сам оплатил покупку, поскольку весной следующего года Наталья Николаевна напоминала Дмитрию, что Спасский ждет с нетерпением своих лошадей.

В семействе Пушкина Иван Тимофеевич исполнял функции и детского врача, и гинеколога, и терапевта. И как это ни горько, ему же досталось вскрывать тело Пушкина. Хотя протокол о вскрытии оформлен Далем, надо полагать, что производил исследование Спасский, который был дипломированным судебно-медицинским экспертом, длительное время преподавал эту специальность в училище правоведения и даже написал книгу о судебной медицине, выдержавшую несколько изданий.

Если же перечислять все специальности доктора Спасского, то надо еще назвать зоологию и ее раздел — энтомологию*, имеющую прямое отношение к медицине, фармакологию, минерологию (применительно к лекарственным минералам). И в каждой из этих специальностей он не был дилетантом, а оставил существенный след в виде научных исследований, лекционных курсов, монографий, руководств. Кстати, Спасским было переведено с английского «Краткое наставление для руководства при подаче первой помощи мнимо умершим», ставшее одним из первых в России учебных пособий по реанимации. Он

* Наука о насекомых.

изучал действие опия на организм, писал работы об оспопрививании, занимался диетотерапией. Сегодня ни одна серьезная статья о лечении голоданием не обходится без ссылки на работу Спасского «Успешное действие голода на перемежающиеся лихорадки».

Широта научного кругозора и энциклопедическая образованность Спасского проявились в целой серии популярных статей, опубликованных в «Лексиконе» Плюшара. Об «ученых предметах» он говорил просто, доходчиво, «человеческим языком», как требовал этого от популяризаторов науки А. С. Пушкин.

Спасского высоко ценил Н. И. Пирогов, и не только на словах: когда Николай Иванович серьезно заболел, он выбрал себе в лечащие врачи Спасского.

Отправив Спасского к жене, Александр Сергеевич пригласил Данзаса и продиктовал ему неучтенные долги, еще четкой подписью скрепил документ.

Вскоре из дворца, не застав императора, возвратился Н. Ф. Арендт. Осмотрел А. С. Пушкина и, убедившись, что симптомы внутреннего кровотечения не нарастают, не стал менять назначения.

Александр Сергеевич снова обратился к лейб-медику с просьбой заступиться перед царем за его секунданта: — Просите за Данзаса. — И повторил спустя некоторое время: — За Данзаса, он мне брат.

Узнав о дуэли, в дом на Мойке стали съезжаться встревоженные друзья поэта: В. А. Жуковский, супруги Вяземские, А. И. Тургенев, М. Ю. Виельгорский.

— Что делает жена? — спросил Александр Сергеевич.

Ему нестерпимо было наблюдать страдания Натальи Николаевны, которая, словно в сомнамбулическом сне, бродила по квартире. Он просил не пускать ее к нему. Но когда ей удавалось проникнуть в кабинет, Александр Сергеевич неизменно пытался внушить жене, что она ни в чем не виновата.

— Она несколько поспокойнее, — ответил Спасский, поручивший Наталью Николаевну Вере Федоровне Вяземской и Екатерине Ивановне Загряжской.

— Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, — вздохнул Пушкин.

Александр Сергеевич, по словам П. А. Вяземского, завещал своим друзьям оградить Наталью Николаевну от клеветы и наговоров.

Умиравший человек, как правило, замыкается в себе, абстрагируется от окружающей его действительности и тем самым уходит от людей раньше, чем перестает биться сердце.

Пушкин умирал иначе.

Он вдруг вспомнил о несчастье, постигшем писателя, журналиста и издателя Н. И. Греча: только что скончался его 18-летний сын Коля, которого Александр Сергеевич хорошо знал.

— Если увидите Греча, кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере, — попросил он Спасского, регулярно встречавшегося с Николаем Ивановичем Гречем на собраниях издателей «Энциклопедического лексикона».

Он категорически запретил Данзасу мстить за него, отчетливо сознавая, что совершить человеческий суд над Дантесом не сложно. Имя Дантеса, как и имена тех, кто направлял его руку, самой его смертью заклеялены в веках. Он словно читал уже строки, которые напишет 23-летний М. Ю. Лермонтов:

И вы не смоеге всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Раненого по-прежнему волновали два вопроса: судьба секунданта и будущее семьи.

На исходе 27 января снова приехал Арендт и привез хорошие вести из дворца. Обещая позаботиться о жене и детях, царь советовал «кончать жизнь христиански».

Принимая условия игры, Пушкин облегченно вздохнул.

«Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время», — записал доктор Спасский, подводя итоги первому дню.

Однако болезнь делала свое дело: боли усиливались.

— Зачем эти мучения? — недоуменно спросил Пушкин. — Без них я бы умер спокойно.



— Смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил! — невнятным голосом произнес Александр Сергеевич, едва преодолевая все нарастающую боль.

Пушкин, возможно, вспомнил, что 112 лет назад, день в день и час в час, в страшных мучениях кончалась жизнь Петра I, и ужаснулся совпадению.

Все последнее время его было заполнено «Историей Петра». Ему не хватило малого: года, даже, может быть, полугода, чтобы закончить этот труд.

Сцена смерти некогда могущественного, а в этот момент — абсолютно бессильного и беспомощного царя стояла у него перед глазами:

«Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал, испуская мочу...

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок, она не отходила от постели Петра и не шла спать, как только по его приказанию...

15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку, левая была уже в параличе. Увещающий от него не отходил. Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до четвертого часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины».

Было 3 часа ночи 28 января 1837 года.

Александр Сергеевич тихо подозвал дежурившего в кабинете слугу и велел подать один из ящичков письменного стола. Слуга исполнил его волю, но, вспомнив, что там лежали пистолеты, разбудил Данзаса, дремавшего у окна в вольтеровском кресле.

Данзас решительно отобрал оружие, которое Пушкин уже успел спрятать под одеялом.

Около четырех часов пополуночи боль в животе усилилась до такой степени, что терпеть уже было невозможно. Послали за Арендтом.

Прервем дальнейшее изложение истории болезни, чтобы попытаться понять, почему И. Т. Спасский, не отлучавшийся от Пушкина, не назначил ему болеутоляющее средство. Ведь доктор Спасский, как мы уже знаем, был видным фармакологом и автором серьезной работы о действии опиума на организм, в которой он сам же гово-

рил, что интенсивная боль — первое показание к применению этого лекарства.

Ответить на этот вопрос трудно. Я думаю, что дело здесь не только в каких-то относительных противопоказаниях, которыми, как полагает Ш. И. Удерман, можно объяснить нерешительность Спасского, а в обычной человеческой растерянности при виде мучений близкого человека.

Недаром многовековой опыт медицины не рекомендует врачам браться за самостоятельное лечение родственников и друзей.

А о том, что Александр Сергеевич был Спасскому дорог до чрезвычайности, свидетельствует тот факт, что в первые дни после этих событий он потерял способность воспринимать жалобы пациентов, не понимая, как они могут говорить о своих болезнях, когда умер Пушкин.

Арендт приехал вскоре. Он снова обследовал Пушкина и, выявив картину начинающегося перитонита, назначил, как полагалось в таких случаях, «промывательное», а для утоления боли — опий.

Это была мучительная процедура для человека, имеющего значительные повреждения костей таза, которых врачи и не предполагали.

«...Боль в животе возросла до высочайшей степени, — записал И. Т. Спасский. — Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. (Пригодное для учебников описание картины болевого шока. — *Б. Ш.*) Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать...»

Между тем опий, назначенный Н. Ф. Арендтом, начал уже оказывать действие, и больной постепенно успокоился.

Понимая, что второго такого приступа он не переживет, Александр Сергеевич потребовал к себе жену и детей. Он спешил, как выразился Жуковский, «сделать свой последний земной расчет».

Малыши еще спали, и их в одеялах, повинаясь его воле, приносили к нему полусонных. Он молча благословлял детей и движением руки отсылал от себя.

Затем Пушкин пожелал проститься с друзьями.

«Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее, — вспоминал Жуковский в своем знаменитом письме к отцу поэта. — Сказать ему я ничего не мог, он махнул рукой, я отошел...»

Так же Александр Сергеевич простился с Вяземским и Виельгорским.

Пушкин захотел видеть своего верного друга Е. А. Карамзину — вдову историографа. Екатерина Андреевна была умна, добросердечна и участлива, и он нередко обращался к ней в трудные моменты своей жизни.

Но жизнь, собственно, уже утекла, и оставалось только проститься.

Вот как Екатерина Андреевна в письме, обнаруженном в 1955 году среди других сокровищ известной «Тягильской находки», рассказывает сыну об этом последнем свидании с поэтом:

«...Пишу тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в среду на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арндт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет!

Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал ти-

хо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке, он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выразалось на его прекрасном лице...».

Спасский взял больного за руку и проверил пульс. Следом за доктором это же сделал сам Пушкин.

— Смерть идет, — сказал он, выразительно глядя на Спасского.

Город еще только просыпался, а молва, что умирает раненый Поэт, уже стремительно распространялась по Петербургу.



III

После тяжелой бессонной ночи доктора И. Т. Спасского сменил другой врач — Ефим Иванович Андреевский, который, к сожалению, не оставил никаких записок о своем дежурстве. В мемуарной литературе также отсутствуют сведения о роли и участии доктора Андреевского в ведении больного. Известно только, что некоторое время он был при постели А. С. Пушкина и именно он закрыл глаза умершего.

Уже одно это дает основание поинтересоваться личностью Андреевского и выяснить, почему он попал в число врачей, оказывающих помощь раненому поэту.

В самом деле, э лейб-медике Н. Ф. Арендте мы знаем, что его пригласил Данзас как одного из самых видных петербургских хирургов; И. Т. Спасский был домашним врачом Пушкиных; В. И. Даль, который появился несколько позже, сам изъявил желание остаться около Александра Сергеевича по праву дружбы. А доктор Андреевский?

Самые полные сведения о нем собраны Ш. И. Удерманом.

Е. И. Андреевский был на 10 лет старше А. С. Пушкина. Происходил он из семьи священника и начинал учиться в духовной семинарии. По заведенному еще в середине XVIII века правилу — для увеличения среди врачей лиц русской национальности — желающих получить медицинское образование нередко набирали из семинаристов. В это число попал и Андреевский. Перед самой Отечественной войной 1812 года он закончил Петербургскую медико-хирургическую академию и в качестве хирурга вместе с Литовским полком прошел через все сражения с Наполеоном.

Это был опытный врач-практик. Высокая квалификация Андреевского подтверждается несколькими публикациями в медицинской печати, представляющими по сути дела поучительные примеры историй болезни больных, которых он лечил или консультировал.

Кстати, одна из его публикаций касается лечения перитонита. В этой работе Андреевский обнаруживает солидные знания предмета, описывая не только клинические проявления болезни, но и изменения, происходящие в органах. В этой же статье приводится случай успешной операции, произведенной Н. Ф. Арендтом по поводу обширного гнойника в брюшной полости. Диагноз перитонита был установлен Е. И. Андреевским. Он же выбрал хирурга. Операция производилась на квартире больного в присутствии именитых врачей, фамилии которых в качестве авторитетных свидетелей непременно приводились в истории болезни. Сегодняшних специалистов вряд

ли заинтересуют приемы, с помощью которых Арендт мастерски вскрыл гнойник, избежав заражения всей брюшной полости. А вот обстановка операции была весьма необычна для нашего восприятия: больного на кровати, чтобы было виднее, придвинули к окну. Хирург опустился на колени и в такой позе сделал разрез. Вся операция продолжалась 7 минут, так как каждая дополнительная минута углубляла болевой шок.

Вероятнее всего, Ефима Ивановича Андреевского звали к Пушкину как крупного специалиста по перитонитам. И он, я полагаю, сразу установил выделенную им в статье быстротечную форму воспаления брюшины, которая неизменно заканчивалась смертью в течение 2-3 дней.

Инициатива приглашения Андреевского должна была принадлежать доктору Спасскому: они были близко знакомы и часто встречались на заседаниях правления Петербургского общества русских врачей.

Организация эта имела цель ликвидировать разобщенность врачей. (Ранее у петербургских врачей не было своей корпорации, и некоторое подобие ее, по свидетельству заезжего иностранца, представляли еженедельные приемы, которые устраивал для своих коллег Н. Ф. Арендт).

Спасский и Андреевский входили в число десяти ее учредителей. Спустя несколько десятилетий общество стало значительной силой, признанной во всем медицинском мире. Его членами в разное время были Н. И. Пирогов, Н. Ф. Арендт, И. Ф. Буш, С. Ф. Гаевский и другие знаменитые петербургские врачи.

Первым президентом общества, организованного в 1833 году, единогласно был избран Ефим Иванович Андреевский — как «человек умный, скромный, прямодушный, пользовавшийся общей любовью и уважением». Он

оставался на этом почетном посту до самой своей смерти, наступившей неожиданно в 1840 году.

Через поколение эстафету руководителя общества принял выдающийся русский терапевт профессор С. П. Боткин, которого на одном из торжественных заседаний приветствовал сын покойного первого президента Иван Ефимович Андреевский, видный юрист и в ту пору ректор Петербургского университета.



12

Известие о ранении Пушкина пришло к В. И. Далю только в четверг во втором часу дня.

«У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале; страх ожидания пробежал по бледным лицам, — вспоминал Владимир Иванович. — Д-р Арндт и д-р Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне ты — я отвечал ему так же и побратался с ним уже не для здешнего мира».

Каждая фраза в этом отрывке для нас важна и ценна.

Обилие людей, искренне взволнованных судьбой Пушкина, свидетельствовало об огромной популярности поэта, масштабы которой не предполагали даже его друзья.

С каждым часом людской поток прибывал. Особенно много было молодежи, студентов. Публика буквально штурмовала квартиру, и Данзас, чтобы обеспечить мало-мальский порядок, попросил прислать из Преображенского полка наряд часовых.

Обыватель не понимал причины паломничества к умирающему поэту и удивлялся. Проходивший мимо по набережной Мойки какой-то старик выразил это такими словами:

— Господи боже мой! Я помню, как умирал фельд-маршал, а этого не было!

Недалеко ушел от этого обывателя небезызвестный министр просвещения и президент Академии наук С. С. Уваров. Чуть позже он выговаривал редактору «Литературного прибавления» А. А. Краевскому за некролог о смерти А. С. Пушкина:

«Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?.. «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща»! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стихи не значит еще проходить великое поприще!..»

Холодный ветер, врывавшийся с Дворцовой площади на Мойку, заметал в лицо снег, прогонял с улицы. Но никто не расходился, ожидая вестей о здоровье Пушкина. На выходивших из его квартиры со всех сторон сыпались вопросы.

Желая изолировать раненого от шума, друзья забаррикадировали дверь в переднюю из прихожей, и проникнуть в комнату, смежную с кабинетом, теперь можно было только в обход — через маленькую буфетную и столовую.

В вестибюле вывесили написанный Жуковским бюллетень:

«Первая половина ночи беспокойна; последняя лучше. Новых угрожающих признаков нет; но так же нет, и еще и быть не может облегчения».

В последней фразе теплилась какая-то надежда на выздоровление. Появилась она утром, когда стихла боль. Даль, надо полагать, спросил у врачей их мнение, и они уже не были так категоричны, как сразу после дуэли.

Личное знакомство В. И. Даля с Пушкиным состоялось еще в 1832 году, и возникло оно на литературной почве. В тот раз Даль, впервые выступивший в роли сказочника Казака Луганского, искал поддержку у великого писателя. Сейчас в поддержке нуждался сам Пушкин. И доктор Даль сказал:

— Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!

Я вынужден опять сделать отступление от истории болезни Пушкина, чтобы рассказать о враче, который провел у его постели последние сутки.

Имя Даля в нашей памяти ассоциируется с образом мудрого седовласого старца с аскетическим лицом, густой бородой, закрывающей половину груди. Он спокойно сидит в кресле со сложенными на коленях руками — отдыхает после трудов праведных, вспахав необозримое поле русского языка. Именно таким его изобразил художник В. Г. Перов. Но это было уже на исходе дней.

Есть еще несколько других, не канонизированных портретов Даля. Молодое красивое, несмотря на крупный нос, лицо. Волнистые светлые волосы. Пытливый и ироничный взгляд.

В молодости ему нравилось смешить публику комичными историями, которые он живо изображал в лицах, имитируя голос, жестикуляцию, мимику. Он любил музыку и сам отлично играл на губной гармошке. По общему признанию, Даля отличали доброта, приветливость, общительность. Эти свойства характера притягивали к нему людей.

Жизнь Даля настолько разнообразна и замечательна, что ее с лихвой могло бы хватить на несколько интересных биографий: морской офицер, врач, ответственный чиновник, этнограф, натуралист, писатель, ученый-языковед.

Такие крутые перемены направлений деятельности для иного человека могли бы оказаться губительными, тогда как Далю это шло только на пользу: расширялся круг его контактов с людьми различных социальных уровней, разностороннее становились его знания, богаче жизненный опыт. Все это затем отлилось в 200 000 слов «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором нашло отражение не только материальное, но и духовное разнообразие русской жизни.

Склонность к лингвистике и врачеванию у Владимира Ивановича была, если можно так выразиться, генетическая: его отец, работая библиотекарем при дворе Екатерины II, вдруг оставил эту спокойную и хлебную должность, чтобы, получив медицинское образование, стать врачом.

Я не могу согласиться с Ш. И. Удерманом, что врачебная деятельность Даля стоит особняком и не имеет органической связи с другими сторонами его жизни.

Медицинская специальность — одна из самых насыщенных людскими контактами, и, несомненно, немалое количество слов, пословиц и поговорок Владимир Иванович «подслушал» у своих пациентов. Кроме того, медицина и близкие к ней биология и естествознание получили широкое отражение на страницах словаря, без чего он утратил бы свою энциклопедическую полноту.

Не в юном возрасте — двадцати пяти лет от роду, уже пройдя курс обучения в Морском корпусе и дослужившись до чина лейтенанта, поступил Владимир Иванович на медицинский факультет Дерптского университета. У Мойера он познакомился с Н. И. Пироговым, который оставил о Дале такие воспоминания:

«Это был замечательный человек... За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить... Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими способностями, необыкновенною ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну...»

Николай Иванович имел в виду начавшуюся в 1828 году войну с Турцией, на которую Даль был призван в качестве военного врача. В связи с мобилизацией ему пришлось досрочно завершить курс обучения. Однако он успел ещё защитить диссертацию на звание доктора медицины и хирургии. Есть свидетельства, что Н. И. Пирогов знакомился с его диссертационной работой, посвященной случаю успешной трепанации черепа и наблюдению над больным с неизлечимым заболеванием почек.

Вернувшись с фронта и поселившись в Петербурге, Даль быстро выдвинулся как искусный глазной хирург.

«Осмелюсь заметить, что глазные болезни, и особенно операции, всегда были любимой и избранною частию моею в области врачебного искусства, — вспоминал Владимир Иванович. — Я сделал уже более 30 операций катаракты, посещал глазные больницы в обеих столицах и вообще видел и обращался с глазными болезнями немало...»

Особенно, как мы уже слышали, преуспел он в деликатных операциях удаления катаракты (катаракта, читаем в его словаре, — «слепота от потускнения глазного хрусталика; туск, помрачение прозрачной роговой оболочки»). Я думаю, что сохранившаяся у него на долгие годы даже после ухода из медицины приверженность этим операциям обусловлена не только профессиональным интересом, но и душевными склонностями к сказочным эффектам: прозрение ослепшего человека неизменно походило на волшебство.

Большой интерес представляет исследование Даля «О народных врачебных средствах», в котором ученый,

преклоняющийся перед языкотворной способностью масс, весьма скептически оценивал народные методы лечения, предупреждая врачей, что следует тщательно «отделять невежественное, суеверное, вредное от полезного». Особенно резко он выступал против лечения глазных болезней, поскольку не одна пара «годных глаз» была загублена втиранием таких невероятных «средств», как купорос и даже толченое стекло.

Отойдя от врачевания и занимая важные административные посты в Оренбурге, Петербурге и Новгороде, В. И. Даль много сделал для улучшения работы больниц, нужды которых он знал не понаслышке. Однако и в это время, выезжая по делам службы в губернию, Владимир Иванович брал с собой хирургические инструменты, которые, случалось, пускал в дело. Доподлинно известно, что в Оренбурге он с успехом выполнил ампутацию руки больному с большой и болезненной опухолью.

В «правильной» медицинской биографии Даля был один не совсем понятный, на мой взгляд, эпизод, связанный с его выступлением в защиту гомеопатии (известное письмо князю В. Ф. Одоевскому, опубликованное в «Современнике» за 1838 год).

Но если вспомнить, что в эти годы процветало учение доктора Ф. Бруссе, предлагавшего любые болезни лечить кровопусканиями (ходила даже шутка, что последователи Бруссе пролили крови больше, чем Наполеон во всех своих войнах*), то на этом фоне рекомендации Ганеманна применять эфемерные дозы лекарственных препаратов были злом, несомненно, меньшим.

Владимир Иванович совершенно справедливо утверждал, что безобидная арника при ушибе действует луч-

* Профессор В. Манасеин в лекциях по терапии (СПб, 1879) указывает, что в 1836 году в Париже было затребовано из аптек 1 280 000 пиваков.

ше, чем пиявки. А вот что он писал о лечении пневмонии: «...вместо кровопускания, на чем настоял бы всякий благоразумный аллопатический врач, больной (речь идет о конкретном человеке, которого наблюдал Даль.— *Б. Ш.*) получил в течение нескольких часов три или четыре приема асонити; первый прием доставил через полчаса значительное облегчение, а через двое суток не осталось и следа болезни; больной, Башкир, сидел уже на коне и пел песни».

И хотя вызывает улыбку чудодейственный эффект аконита при «довольно значительном воспалении легких», как Даль определил болезнь у своего пациента, но и при обычном бронхите кровопускание, несомненно, только ослабило бы организм больного.

К сожалению, в своих действиях у постели раненого поэта Даль оказался непоследовательным.

По общепринятым тогда правилам и в соответствии с рекомендацией Арендта он поставил А. С. Пушкину далеко не гомеопатическую дозу пиявок — 25 штук, которые высосали у обескровленного больного по самым скромным подсчетам дополнительно еще 250 мл крови. (Несколько утешиться можно, узнав, что Бруссе в таких случаях советовал приставлять к животу от 60 до 100 пиявок и что врачи сочли возможным обойтись без общего кровопускания.)

Интересна история отношений Даля с Пушкиным.

Жизнь Владимира Ивановича была насыщена встречами и тесным общением со многими выдающимися людьми. Если перечислять все фамилии, то может сложиться впечатление, что он коллекционировал не только слова: Пирогов, Иноземцев, Языков, Жуковский и другие обитатели дома профессора Мойера в Дерпте.

С будущим героем Севастополя адмиралом Нахимовым в годы учебы в Морском корпусе он ходил на бриге «Феникс» к берегам Дании, откуда приехал в Россию его отец. Именно тогда у него родилось убеждение, что

«ни призвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью к той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски», — писал Даль.

Несомненно, самыми памятными в жизни Даля были несколько встреч с Пушкиным.

Еще при их первом свидании Александр Сергеевич укрепил Даля в его намерении работать над словарем живого великорусского языка. Вот как сам Владимир Иванович вспоминал об этой встрече, когда он принес поэту свои сказки: «...Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

Второй раз они встретились спустя год, ранней осенью 1833 года, и уже не в столице, а в Оренбурге, куда Пушкин, «нежданный и нечаянный», приехал собирать материалы для «Истории Пугачевского бунта».

Даль уже несколько месяцев служил чиновником по особым поручениям при оренбургском военном губернаторе В. А. Перовском и успел настолько освоиться с прошлым Яицкого края, что лучшего сопровождающего Пушкину нечего было и желать.

Они ездили в историческую Бердскую слободу, где была ставка Пугачева и его знаменитые «золотые пала-

ты» — деревенская изба, стены которой были оклеены тонкой золотистой бумагой.

В Бердах нашли старуху-казачку, которая помнила Пугачева. Пушкин слушал ее «с большим жаром», как определил Даль, и от души хохотал над забавными деталями, всплывавшими в памяти рассказчицы.

Она вместе с другими пряталась в церкви, когда туда пришел Пугачев, выдававший себя за императора Петра III. Старуха рассказала, что Пугачев сел на церковный престол, перепутав его с царским тронном, и громко сказал:

— Как я давно не сидел на престоле!

Пушкин отблагодарил казачку червонцем. Однако этот подарок произвел переполох среди станичников, заподозривших неладное. Старуху вместе с ее червонцем посадили на подводу и привезли в Оренбург. Казаки доносили: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой не велик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти».

Пушкин, как заметил Даль, «много тому смеялся».

Они провели вместе несколько незабываемых дней. Допоздна беседовали. Пушкин делился с Далем планами. В это время он уже целиком был захвачен замыслом «учено-художественной» (по определению В. Г. Белинского) истории Петра Великого, о чем говорил буквально воспламенившись.

На вопрос Даля, когда будет готова книга, Александр Сергеевич ответил, что не надо торопиться, надо освоиться с предметом и постоянно им заниматься.

Владимиру Ивановичу показалось, что он проник тогда в мастерскую творчества великого Поэта: «Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно созревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным

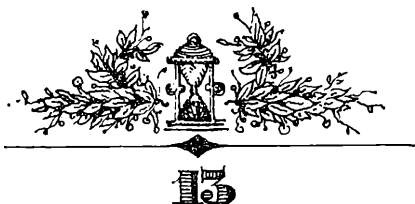
потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово» *.

Разносторонний, умелый, деликатный, склонный к юмору, Даль не мог не полюбитья Пушкину, и вскоре Владимир Иванович получил первый привет — рукопись «Сказки о рыбаке и рыбке» с дарственной надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин».

Даль провожал Пушкина до Уральска, откуда запылало пламя крестьянской войны. Заезжали в крепости, стоявшие на пути пугачевского войска. Одну из таких крепостей Александр Сергеевич описал в «Капитанской дочке»: «...Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видел, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полусансенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. — «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этими словами мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою...»

Замечательную повесть эту, так остро напоминавшую об их кратком путешествии, Даль прочитал в последнем номере «Современника» за 1836 год и, собираясь по делам службы в Петербург, предвкушал радость свидания с поэтом.

* По-видимому, представление В. И. Даля не совсем правильное: большинство более поздних исследователей считает, что соприкосновение пера и бумаги — необходимый момент для пушкинского искрометного творчества. Известный пушкинист С. Бонди писал по этому поводу: «А. С. Пушкин сочинял свои вещи большей частью прямо на бумаге, во время писания их, и почти весь процесс создания вещи получал точное отражение в рукописи, что делает его рукописи в высшей степени богатыми, содержательными и выразительными».



Ясно сознавая, что жизнь кончается, Пушкин торопил смерть:

— Долго ли мне так мучиться? — и просил, словно это зависело от Даля: — Пожалуйста, поскорее...

Из-за одышки и слабости говорить было трудно, и он произносил слова отрывисто, с расстановкой.

Находясь на смертном одре, он мог только позавидовать кончине своего собрата по перу А. С. Грибоедова, гроб с телом которого встретил на пути в Арзрум: «...Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна...»

Владимир Иванович глядел на его заострившиеся, как обычно бывает при перитоните, черты лица и пытался успокаивать.

— Нет, мне здесь не житье, — отвергая всяческие утешения, отвечал Пушкин. — Я умру, да, видно, уж так надо...

Он уходил из жизни без пышных фраз, обращенных к потомкам. Все, что хотелось сказать, он сказал в своих произведениях... Впрочем, все ли? Он уносил с собой великую тайну... Главной задачей было уйти достойно, не пугая жену, не обременяя друзей.

Он ни на что не жаловался, никого не упрекал и благодарил за любой пустяк — подадут ли воду, поправят ли постель, повернут ли его на бок, показывая, что **всем доволен.**

— Вот и хорошо... и прекрасно... — постоянно приговаривал он.

И от этих его слов у присутствующих наворачивались слезы.

Арендт, который наблюдал много смертей на своем веку, отошел от его постели и, вытирая глаза, заметил, что никогда не видел такого терпения.

До конца дней своих запомнился Дально мучительный оскал зубов, обнажаемых раненым в непрерывных страданиях. Даже в кратковременном забытии губы его судорожно подергивались.

— Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче, — уговаривал его Даль.

— Нет, не надо, жена услышит, — возражал Пушкин.

Один из ближайших друзей поэта, П. А. Плетнев, не отходивший все эти дни от раненого, заметил: «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, несколько не ужасающим».

Он тер себе виски кусочками льда, которые сам доставал из стакана с водой, и это на мгновение отвлекало его.

Александра Сергеевича, по свидетельству очевидцев, продолжало интересоваться, что происходит в доме.

— Много людей принимают в тебе участие, — сообщил ему Даль, — зала и передняя полны.

Раненый явно растрогался.

— Ну, спасибо... — И попросил ободрить Наталью Николаевну: — Скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят...

Больному «припустили» на живот 25 пиявок, о чем я уже говорил. По мнению Даля, эта процедура оказала благотворное влияние: пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче.

«...Я ухватился, как утопленник за соломинку, — вспоминал Владимир Иванович, — и, обманув и себя и дру-

зей, робким голосом возгласил надежду. Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» Он пожал мне руку. Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою; ни прежде, ни после этого он ей не верил...»

Затем боль оставила раненого, и на смену ей пришла чрезмерная тоска. Но это было не легче.

— Ах, какая тоска! — периодически восклицал Пушкин. — Сердце изнывает...

Смертельная тоска — этот эквивалент боли — заполняла все его существо. Он задыхался в ней и, пытаясь избавиться, просил Даля приподнять его, поправить подушки, сменить положение.

Однажды в полубреду, сжимая руку Даля, он позвал его куда-то:

— Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше, — ну, пойдем!

Тут же очнувшись, с ясным сознанием и даже с усмешкой анализировал:

— Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась...

Долгую, томительную ночь провел Владимир Иванович возле постели умирающего поэта, повторяя мысленно одни и те же леденящие душу слова:

«Ну, что ж? — Убит!»

Теперь это было ясно и ему.

Владимиру Ивановичу вспомнился четырехлетней давности разговор с Пушкиным по дороге в Берды. Александр Сергеевич в ту пору вынашивал замыслы великой книги, какая еще не появлялась из-под его волшебного пера. «О, вы увидите: я еще много сделаю! — сказал он тогда Далю. — Ведь даром что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как

жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я...»

Даль отвернулся и украдкой вытер катившиеся по щекам слезы.

Рано утром приехал Спасский. Он оставил Александра Сергеевича с некоторой надеждой, которая появилась у всех после пиявок. Но Пушкин «истаебал», как записал Иван Тимофеевич. Руки больного были холодные, пульс едва определялся, дыхание частое, прерывистое.

Консилиум врачей в составе Арендта, Спасского, Далья и Андреевского единогласно сошелся во мнении, что начинается агония.

«Ударило два часа пополудни, 29 января, — вспоминал Даль, — и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа».

Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, заполнивших прихожую: «Больной находится в весьма опасном положении».

К постели поэта подошли его друзья. В этот момент Пушкин открыл глаза и попросил морошки.

Послали за морошкой. Он ожидал ее с большим нетерпением и несколько раз спрашивался, скоро ли будет морошка?

Наталья Николаевна сама дала ему из ложечки несколько ягодок и сока.

Лицо поэта выражало спокойствие, и жена вышла от него обнадеженная.

Александр Сергеевич попросил положить его выше.

Даль легко приподнял его.

Пушкин вдруг открыл глаза и сказал:

— Кончена жизнь.

Владимир Иванович не расслышал и тихо переспросил:

— Что кончено?

— Жизнь кончена, — ответил он внятно. — Тяжело дышать, давит...

Это были его последние слова.

Констатируя смерть поэта, Даль вспоминал:

«Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также; отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его».

Было 2 часа 45 минут пополудни 29 января 1837 года.

Может быть, именно в этот день будущий словарь Даля пополнился еще одним словом, толкование которого он записал тут же, в квартире Пушкина, на отдельном листке бумаги: «Бессмертие — непричастность смерти, свойство, качество неумирающего, вечно сущего, живущего; жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам или делам его.

Незабвенный, вечнопамятный».



Ровно за 100 дней до трагической дуэли на квартире у лицейского старосты М. Л. Яковлева отмечали круглую дату — четверть века Царскосельского Лицея.

Шуточный протокол сходки писал Пушкин:

«...пировали следующим образом:

- 1) Обедали вкусно и шумно.
- 2) Выпили три здоровья (по заморскому toast):
 - а) за двадцатипятилетие лица,
 - б) за благоденствие лица,
 - в) за здоровье отсутствующих.
- 3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей.
- 4) Читали старинные протоколы и песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева.
- 5) Помнили лицейскую старину.
- 6) Пели национальные песни.
- 7) Пушкин начал читать стихи на 25-летие лица, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу».

Последний пункт выбивался из общего мажорного тона. На душе у поэта было беспросветно грустно, тоскливо, и Александр Сергеевич этого не сумел скрыть,

Была пора: наш праздник молодой
 Сиял, шумел и розами венчался,
 И с песнями бокалов звон мешался,
 И тесною сидели мы толпой.
 Тогда, душой беспечные невежды,
 Мы жили все и легче и смелей,
 Мы пили все за здравие надежды
 И юности и всех ее затей...

Очевидцы вспоминали, что слезы помешали ему дочитать традиционно приготовленное к встрече стихотворение. Он словно чувствовал, что это его последнее 19 октября.

«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого-то подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как ты мог это допустить?..» — причитал лицеист Ф. Ф. Матюшкин.

Но что мог сделать лицейский староста Михаил Лукьянович Яковлев?

В. А. Жуковский, производивший по указанию царя вместе с жандармским генералом Дубельтом «посмертный обыск» в бумагах А. С. Пушкина, имел возможность познакомиться с письмами Бенкендсрфа к поднадзорному поэту и воочию удостовериться, что ни один из русских писателей не притеснялся более покойного. Сердце его сжалось при этом чтении, как признался Василий Андреевич.

Пушкин умер 29 января. По злой иронии судьбы это был день рождения В. А. Жуковского. Но после гибели Пушкина это был уже не тот осторожный и склонный к компромиссам человек, каким он прожил свои предшествующие 54 года и каким его знали при дворе. В горестные дни прощания с другом-поэтом Жуковский нарушил свои принципы поведения и выступил с гневными обвинениям в адрес второго лица в государстве.

«...Каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такой сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить места без навлечения на себя подозрения или укора? — вопрошает он гонителя поэта. — В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление?»

Приведем еще небольшой отрывок из этого документа, чтобы показать гражданскую позицию Жуковского:

«...В одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям свои произведения для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя... Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее...»

Что мог сделать Яковлев или кто-нибудь другой из друзей поэта, если, как писал Жуковский, «...ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслажденья видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждом стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение...».

В. А. Жуковский вскрывает истинное отношение Николая I к Поэту.

Смелое письмо это всесильному жандарму перечеркивает верноподданнические строки другого письма, написанного той же рукой и впоследствии (когда забылся повод, из-за которого сочинялись идиллические сцены духовной связи умирающего Пушкина с царем) оказавшего неблагоприятное влияние на репутацию автора.

Смерть Пушкина поразила все общество. Даже Геккерен в секретной депеше своему министру иностранных дел вынужден был отметить это: «...Долг чести повелевает мне не скрыть от Вас того, что общественное мнение высказалось при кончине Пушкина с большей силой, чем мы предполагали...»

И это несмотря на правительственное запрещение «всякого особенного изъявления» чувств и предписание печати соблюдать «умеренность и такт приличия».

В нарушение высочайших указаний в траурные дни был напечатан лишь один прочувствованный некролог:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого подвига!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января 2 часа 45 м. пополудни».

Не допущенный на страницы общественной печати плач по Пушкину ушел в русло личной переписки передовых деятелей русской культуры, ставшей важным историческим документом эпохи.

«... В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами, — писал В. А. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. — Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось.... У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?..»

Приведу еще один яркий образец подобного письма. Александр Карамзин — брату Андрею в Париж: «... Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии... в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чувствуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!.. Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..»

В огромном числе списков распространялось лермонтовское стихотворение, в котором был не только плач по поэту, но и гражданское негодование и требование возмездия.

Николай I моментально отреагировал на этот призыв и без оглядки на «божий суд» учинил свой, царский. Уже 25 февраля было велено «Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова... перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского * выдержать под арестом в течение од-

* С. А. Раевский — друг М. Ю. Лермонтова, участвовавший в распространении стихотворения.

ного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

* * *

Законный наследник Пушкина, М. Ю. Лермонтов повторил его путь: от ссылки — к смерти на дуэли и — к бессмертию. Стихотворение, за которое он заплатил столь дорогой ценой, открыло многим глаза на истинных виновников трагической гибели Поэта.

«Трагическая смерть Пушкина, — вспоминал И. И. Панаев, — пробудила Петербург от апатии... Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение».

По самым скромным подсчетам перед гробом Пушкина прошло несколько десятков тысяч людей. «На похоронах Пушкина и в предсмертные дни его был весь город», — пометил Вяземский в своей записной книжке.

Толпы народа запрудили улицы, по которым должна была двигаться похоронная процессия. С момента декабрьского восстания Петербург не видел такого многолюдья. Во «всеподданнейшем отчете» корпуса жандармов за 1837 год настроение общественных масс за протоколировано следующим образом: «Собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту...»

Но Николай еще не забыл унижительных минут страха, пережитого им 12 лет назад. Опасаясь антиправительственных выступлений, он скомкал прощание с поэтом. И не просто скомкал, а запутал и облек в тайну всю похоронную церемонию.

Назначенный для отпевания Исаакиевский собор, о чем уже были разосланы извещения, неожиданно заменили на небольшую церковь Конюшенного ведомства, а вместо торжественного выноса тела гроб перенесли в поспешности ночью.

В том же жандармском отчете об этом говорится без обвиняков: «...имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласности устранить все почести, что и было исполнено».

Дом на Мойке оккупировали переодетые жандармы. На улице и в близлежащих дворах были выставлены солдатские пикеты.

«В минуту выноса, на который собрались не более десяти друзей Пушкина, — писал Бенкендорфу жестоко обиженный Жуковский, — жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви...»

Старшая дочь Н. М. Карамзина Софья Николаевна, искренне оплакивавшая Пушкина, так описала брату Андрею обстановку панихиды (я снова цитирую бесценную «Тагильскую находку»):

«...В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были би-

леты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: я только здесь первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь: спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока не отвезут его в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера (Мещерского) разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах...»

Чтобы остановить нескончаемый людской поток, гроб сразу же спрятали под замок в церковном подвале. Но на этом «меры предосторожности» не кончились: прах поэта увозили из столицы тоже ночью, тайком, с непристойной поспешностью в сопровождении жандармского офицера. Александру Ивановичу Тургеневу, единственному из друзей поэта, было дозволено проводить его в последний путь. Впрочем, в траурном поезде был еще один близкий А. С. Пушкину человек — Никита Тимофеевич Козлов, его «дядька», не пожелавший расставаться с останками своего барина до самой могилы. Очевидец вспоминал о переживаниях Н. Т. Козлова: «Смотреть было даже больно, как убивался. Привязан был к покойному, очень привязан. Не отходил почти от гроба: не ест, не пьет...»

Спешили. Нешадно погоняли лошадей (за Псковом под гробом пала лошадь). А впереди мчался царский курьер с депешей «о невстрече», как определил ее смысл А. И. Тургенев.

Земля Святогорского монастыря, близкая к «милому пределу», была выбрана самим поэтом.

Вернувшись в апреле 1836 года с похорон матери в Святогорском монастыре, Пушкин сказал жене П. В. Нащокина, что смотрел на работу могильщиков и, любясь песчаным сухим грунтом, вспомнил о Павле Воиновиче, который в это время был болен: «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать...» Но, говоря о друге, думал о себе: ведь тогда же, когда хоронил мать, купил место и для себя, уплатив в монастырскую казну положенную сумму. Приготовления его, увы, очень скорогодились

Переязбшие ямщики, не зная хорошенько дороги в Святые Горы, завернули в Тригорское. «Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не встретиться с Тригорским и с нами», — записала позднее дочь П. А. Осиповой Е. И. Фок.

Похоронили А. С. Пушкина на рассвете 6 февраля. Крестьяне на плечах вынесли гроб из церкви и опустили в только что вырытую мерзлую могилу. «Мы предали земле земное...» — записал А. И. Тургенев.

Некоторые плакали. Речей над гробом не произносилось.

Царь не воспротивился последней воле Пушкина, полагая, что, чем дальше от столицы он будет покоиться, тем скорее о нем забудут. Он не мог предположить, что этот уголок исконно русской земли станет священным местом, нашей Меккой.

«...Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной Святогорского монастыря в Псковской области, где похоронен Пушкин; — писал К. Г. Паустовский. — Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России...»

Мысль Паустовского хочется продолжить и сказать о далеких и чистых далях, открывающихся с высот поэзии Александра Сергеевича Пушкина.

П. А. Плетнев, побывавший на могиле Александра Сергеевича одним из первых, так обрисовал ее первоначальный вид: «Площадка — шагов в двадцать пять по одному направлению и около десяти по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Она уложена дерном. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя «Пушкин».

Спустя четыре с половиной года после гибели мужа «смертельно опечаленная» Наталья Николаевна установила на его могиле памятник, сохранившийся до наших дней.

«Пушкина хоронили дважды, — пишет в своей книге «У лукоморья» хранитель этого заповедного края С. С. Гейченко. — ...Установка памятника оказалась непростым делом. Нужно было не только смонтировать и поставить на место привезенные из Петербурга части, но и соорудить кирпичный цоколь и железную ограду; под все четыре стены цоколя на глубину два с половиной аршина подвести каменный фундамент и выложить кирпичный склеп, куда было решено перенести прах поэта. Гроб был предварительно вынут из земли и поставлен в подвал в ожидании завершения постройки склепа. Все было завершено в августе».

Скромное надгробье представляет собой невысокий (чуть более двух метров) четырехгранный обелиск белого мрамора, возвышающийся над небольшой аркой с траурной урной. Арка опирается на массивную черную плиту, на которой золотыми буквами выбиты имя, отчество, фамилия, место рождения и даты рождения и смерти. И больше ничего. Да больше и не надо: Александр Сергеевич Пушкин — этим все сказано.



15

Можно ли было спасти Пушкина?

Вопрос этот в различных вариациях возникает так часто, что и нам от него не уйти. Уже сама постановка его говорит о многом: Поэт, скончавшийся почти полтора века назад, воспринимается как наш современник, и время не в состоянии приглушить боль утраты.

Чтобы грамотно оценить возможности лечения, надо прежде всего иметь представление о морфологических изменениях в органах погибшего.

До нас дошла записка Даля «Вскрытие тела Пушкина», из которой следует, что, кроме огнестрельного многооскольчатого перелома костей таза и сравнительно небольшого количества крови, скопившейся в животе, имелось воспаление брюшины, источником которой, по всей видимости, было омертвление стенки тонкой кишки на ограниченном участке («величиною с грош», как отметил В. И. Даль).

Причина изменений кишки до сих пор окончательно не установлена: одни считают это результатом ушиба пульей, другие — вторичного ранения острым костным осколком, хотя для развития перитонита это уже не существенно.

«Вскрытие... показало, что рана принадлежала к безусловнo смертельным», — подвел итоги В. И. Даль.

Однако прежде чем мы попытаемся понять, почему он сделал такое безоговорочное заключение, несколько слов о самой процедуре вскрытия.

Производилось оно в соответствии с Указом военной

коллегии от 1779 года об обязательном вскрытии трупов умерших насильственной смертью. Выполнено оно, к сожалению, не в полном объеме и весьма поверхностно. Это понимал Даль, записавший: «Время и обстоятельства не позволили продолжить подробнейших разысканий».

Но осуждать исследователей нельзя: за стеной раздавались рыдания Натальи Николаевны, а с улицы доносился неутрахающий гул толпы.

Расчет времени, проведенный Ш. И. Удерманом, дает основание считать, что вскрытие было выполнено 29 января в промежутке между 16 и 20 часами.

В самом деле, раньше — нереально, так как около часа ушло, пока скульптор Гальберг снимал гипсовую маску, а позже — сомнительно: в 20 часов, как записано в дневнике А. И. Тургенева, была панихида, после которой, учитывая религиозно-этические соображения, вряд ли стали бы производить вскрытие. На следующий день в передней уже был выставлен гроб с телом покойного.

Лицо поэта, по воспоминаниям очевидцев, было необыкновенно спокойно. Казалось, он спал. Кудрявые волосы разметались по атласной подушке, густые бакенбарды окаймляли впалые щеки, выбивались из-под широкого черного галстука. Пушкина положили в гроб не в ненавистном ему камер-юнкерском мундире, а в его любимом темно-коричневом сюртуке.

В. А. Жуковский величавым гекзаметром написал простые и трогательные стихи: «Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе руки свои опустив... были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо...»

Записка Даля о вскрытии не является официальным документом. Да и составлена она не по форме.

Вскрытие — и это мы уже обсуждали — должно быть, производил доктор Спасский, имевший на то полное право как дипломированный судебно-медицинский

эксперт. Надо полагать, что им был составлен официальный протокол, который, возможно, когда-нибудь и будет обнаружен. А записка Даля — это больше впечатления человека, присутствовавшего при исследовании или, может быть, помогавшего Спасскому. Но и той информации, которая содержится в ней, вполне достаточно, чтобы согласиться с утверждением Владимира Ивановича о безусловной смертельности ранения.

Я полагаю, читатель успел убедиться, что у постели поэта собрались в высшей степени достойные представители отечественной медицины пушкинской поры. Проводимые ими мероприятия, не всегда рациональные с наших сегодняшних позиций, находились в согласии с господствовавшими в то время принципами ведения больных с огнестрельным ранением живота.

Для спасения Пушкина требовалась в первую очередь серьезная операция на органах брюшной полости. Однако подобные хирургические вмешательства с большой осторожностью стали производить только в последней четверти XIX века. Я не буду повторять общеизвестного — значения для исхода заболевания антибиотиков, переливания крови, питательных растворов и других распространенных сегодня медикаментов, о которых тогда и не помышляли.

Как верно заметил один из исследователей истории болезни Пушкина, если бы раненый поправился, это была бы счастливейшая случайность, и врачи не имели бы права приписывать такой исход своему лечению.

Здесь любопытно отметить один психологический момент: никто из современников А. С. Пушкина, включая его родных и близких, ни полусловом не упрекнул Н. Ф. Арендта и его коллег в том, что они не спасли поэта. Доктора, волей судьбы собравшиеся у постели умирающего Пушкина, до последних дней своей жизни не теряли уважения коллег, в том числе таких нелюбимых, каким был Н. И. Пирогов.

Упреки и даже обвинения в адрес врачей стали раздаваться значительно позже, когда хирурги научились оперировать и лечить подобных больных. Писатель и биограф А. С. Пушкина Л. П. Гроссман так сформулировал эти мнения: «Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта».

Однако броская его формулировка не совсем точна.

Выдающийся советский хирург С. С. Юдин, хотя и усмотрел в лечении Пушкина целый ряд ошибок, допущенных врачами, четко заявил на страницах газеты «Правда», что рана его была по тому времени, несомненно, смертельна. Такое же заключение сделал другой известный наш врач и историк медицины профессор И. А. Кассирский.

В столетие со дня смерти поэта в старом здании Академии наук на Волхонке проходило необычное заседание Пушкинской комиссии. За столом президиума собрался цвет советской хирургии. В переполненном зале — писатели, поэты, литературоведы. Первый ряд занимали потомки Пушкина.

Председательствовавший — писатель и врач В. В. Вересаев, автор известной книги «Пушкин в жизни», — предоставил слово знаменитому нашему хирургу, впоследствии президенту АМН СССР, профессору Н. Н. Бурденко, который выступил с докладом о ранении поэта и его лечении.

К сожалению, рукопись доклада Н. Н. Бурденко до сих пор не обнаружена, а писатель Анатолий Гудимов в статье «В граненый ствол уходят пули» («Журналист» № 9 за 1967 г.) признался, что при подготовке информации о заседании Пушкинской комиссии вставил несколько строк о том, что раненого Пушкина можно было спасти.

«...Нет мне покоя, пока я не разыщу стенограмму доклада Н. Бурденко и не опубликую ее Наверное.

только так я полностью искуплю ошибку, допущенную в молодости», — писал он в заключении статьи.

Но Гудимов скончался, не успев осуществить своих намерений. Однако так ли уж необходим текст выступления, чтобы удостовериться, что Н. Н. Бурденко никогда не мог сделать такого опрометчивого заявления?

Н. Н. Бурденко был крупнейшим специалистом по военно-полевой хирургии (во время Великой Отечественной войны он по праву возглавил хирургическую службу Советской Армии). Приобщался он к основам хирургии в том же самом бывшем Дерптском университете, в котором в свое время учился и преподавал великий Пирогов, и прекрасно знал историю этой науки.

Кроме того, вторым докладчиком на том же заседании Пушкинской комиссии 1937 года был ученик Н. Н. Бурденко доктор А. А. Арендт, который утверждал, что ранение А. С. Пушкина на том уровне развития хирургии было, несомненно, смертельным.

Трудно предположить, чтобы учитель и ученик выступали с такой высокой трибуны с диаметрально противоположными взглядами.

Скажу больше, в архиве А. А. Арендта, с которым несколько лет назад меня познакомила ныне покойная Евгения Григорьевна Арендт — вдова Андрея Андреевича, сохранился машинописный текст двух выступлений.

Одно из них («Ранение А. С. Пушкина и его лечащий врач Николай Федорович Арендт») начинается такими словами: «Пушкинская комиссия АН СССР оказала мне честь, предложив выступить с докладом на сегодняшнем торжественном заседании, посвященном столетию со дня смерти А. С. Пушкина. Эту честь я должен приписать в значительной степени тому обстоятельству, что руководящим лицом при лечении Пушкина был мой прадед Николай Федорович Арендт...» Авторство этого доклада не вызывает сомнений.

Тезисы другого сообщения «Хирургия времени Пуш-

кина. Ранение А. С. Пушкина и его лечение» тоже подписаны А. А. Арендтом. Но ведь он выступил только с одним докладом, а доклад, который сделал Н. Н. Бурденко, имел именно такое название. Можно предположить: материалы этого доклада были подготовлены А. А. Арендтом, и поэтому Николай Нилович Бурденко не включил его в собрание своих трудов.

Заключительный абзац рукописи резюмирует ее содержание: «У врачей пушкинского периода арсенал медицинских возможностей по борьбе с грозными явлениями перитонита был крайне скудный и малоценный, и поэтому предъявлять обвинения в неправильном ведении и лечении или в недостаточной смелости в проведении тех или других видов лечения не представляется возможным. Они исчерпали все то, что могли дать, они применили все то, чем располагала медицина того времени. В тот период ранение Пушкина было смертельным при всех обстоятельствах».

В «Литературной газете» 5 февраля 1937 года была опубликована краткая информация об этом собрании:

«Все ли возможное сделали врачи, чтобы спасти и продолжить жизнь великого поэта? Этим вопросам, волнующим вот уже 100 лет умы многочисленных читателей Пушкина, были посвящены доклады заслуженного деятеля науки профессора-орденоносца Н. Н. Бурденко и доцента А. А. Арендта, сделанные ими вчера на заседании Пушкинской комиссии АН СССР.

В интересном и содержательном докладе Н. Н. Бурденко ознакомил аудиторию с состоянием хирургической науки в первой половине XIX века и охарактеризовал известных хирургов того времени, в том числе врачей, лечивших Пушкина. Основываясь на дошедших до нас материалах, докладчик описал рану Пушкина и подробно рассказал о ходе болезни поэта, о методах его лечения.

Н. Н. Бурденко и А. А. Арендт доказывают несостоятельность точки зрения некоторых врачей, утверждаю-

щих, что лейб-медик Арендт, руководивший лечением Пушкина, не облегчил по политическим мотивам страданий поэта и не сохранил ему жизнь.

Пушкин, как известно, был ранен в брюшную полость. Ранение в эту область тела неизбежно вызывает перитонит — болезнь, которая при тогдашнем состоянии хирургической науки неизбежно влекла за собой смерть.

Ничего противоречащего методам лечения, которые обычно применялись в те времена при заболевании перитонитом, лейб-медик Арендт и другие врачи, лечившие поэта, не делали. Таков основной вывод вчерашних докладов в Пушкинской комиссии Академии наук».

Эта информация полностью соответствует содержанию тех двух рукописей, с которыми мне удалось познакомиться в архиве А. А. Арендта.

Надо заметить, что каждый раз, когда медики объективно и честно оценивали сложившуюся ситуацию, они приходили к такому же выводу. Так совсем недавно, в традиционные Пушкинские дни 1982 года, во Всесоюзном научном центре хирургии АМН СССР состоялась специальная научная конференция, посвященная ранению и смерти А. С. Пушкина. Тема заседания, казалось бы, далекая от насущных проблем здравоохранения, собрала большую заинтересованную аудиторию ученых. Один из ведущих наших хирургов академик Б. В. Петровский так сформулировал общее мнение собравшихся: «С позиций современной хирургии мы можем сказать, что перед тяжелым ранением А. С. Пушкина наши коллеги первой половины XIX века были беспомощны».

Несколько слов о том, как изменялись шансы на благоприятный исход лечения раненого в живот на различных этапах развития хирургии.

На XIV съезде российских хирургов, проходившем в декабре 1916 года, были подведены итоги лечения раненых во время первой мировой войны. Большинство докладчиков высказывались в пользу выполнения сроч-

ного оперативного вмешательства раненому в живот. Смертность при этом составляла 60%, тогда как из каждых 100 больных, которых не оперировали, погибло более 90 человек.

Во время Великой Отечественной войны уже не было двух мнений: оперировать или выжидать. Активная хирургическая тактика позволила сократить смертность при этих ранениях в 2—3 раза, а внедрение в практику пенициллина и других антибиотиков еще уменьшило число неблагоприятных исходов.

И хотя статистические подсчеты показывают, что и сегодня еще далеко не все 100% больных с подобными ранениями удастся спасти, я как хирург не могу принять позицию тех, кто не знает, на какой «чаше весов» оказалась бы жизнь А. С. Пушкина. Каждый раз, становясь к операционному столу, хирург надеется на успех.

Библиография

- Андрианов А. Д. Ранение и смерть А. С. Пушкина. — В сб. Из истории медицины. Вып. 5. Рига, 1963.
- Андронников И. Л. Тагильская находка. Собр. соч., т. I. М., 1980.
- Вересаев В. В. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1927.
- Гейченко С. С. У лукоморья. Л., 1977.
- Гроссман Л. П. Пушкин. Серия ЖЗЛ. М., 1960.
- Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судебное дело 1837 г. СПб, 1900.
- Заблудовский А. М. Русская хирургия первой половины XIX века. — Новый хирургический архив, т. 39, кн. I, 1937.
- Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели. СПб, 1886—1888.
- Лахтин М. Большие операции в истории хирургии. М., 1901.
- Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982.
- Лукьянов С. М. О последних днях жизни и смерти А. С. Пушкина с медицинской точки зрения. СПб., 1899.
- Мудров М. Я. Избранные произведения. М., 1949.
- Попова Н. И. Музей-квартира А. С. Пушкина. Л., 1980.
- Оппель В. А. История русской хирургии. Вологда, 1923.
- Петровский Б. В. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина. — Клиническая медицина, 1983, № 4.
- Пирогов Н. И. Вопросы жизни. (Дневник старого врача). СПб., 1885.
- А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. Под общей ред. В. В. Григоренко и др. М., 1974.
- Удерман Ш. И. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. Л., 1970.
- Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951.
- Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975.
- Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1870.
- Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936.
- Юдин С. С. Ранение и смерть Пушкина. — Правда, 1937, 8 февраля.

Борис Моисеевич ШУБИН
ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ

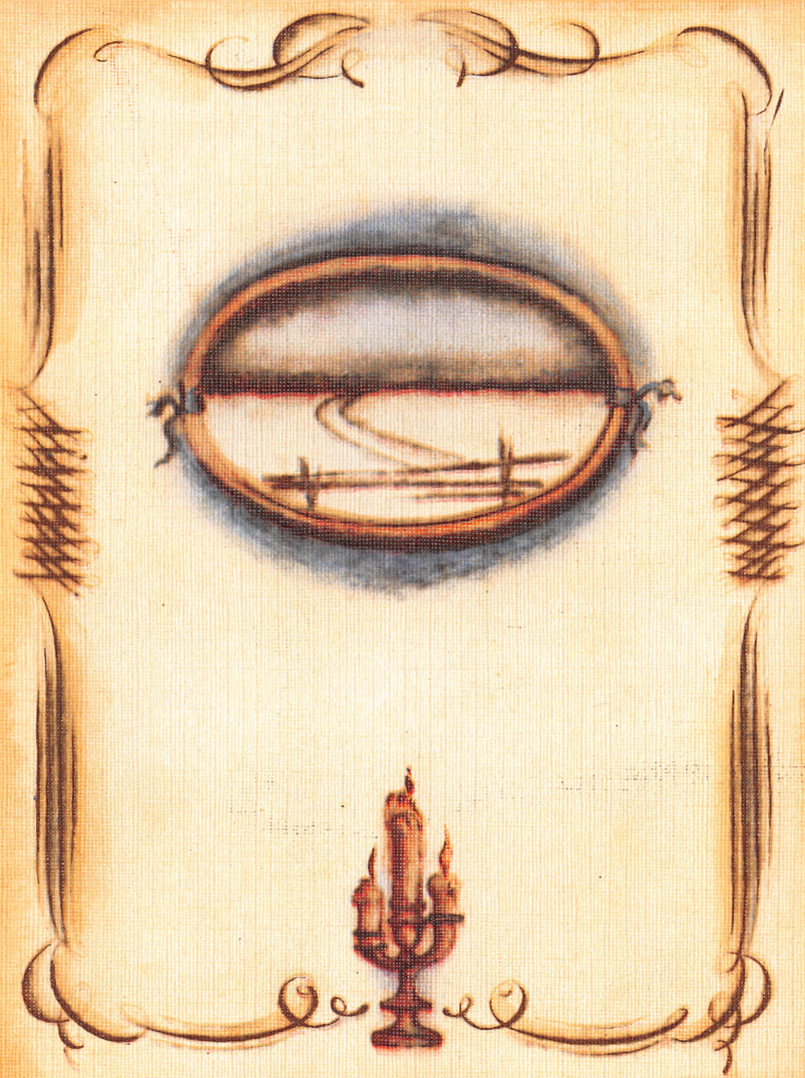
Главный отраслевой редактор *В. П. Демьянов*
Редактор *С. П. Столпник*
Мл. редактор *О. А. Васильева*
Художник *А. И. Добрицын*
Худож. редактор *Т. С. Егорова*
Техн. редактор *Н. В. Лбова*
Корректор *С. П. Мосейчук*

ИБ № 5671

Сдано в набор 30.03.83. Подписано к печати 01.08.83.
А09782. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 6,65. Усл. кр.-отт. 7,09. Уч.-изд. л. 5,87+0,79 вкл.
Тираж 100 000 экз. Заказ 5624. Цена 45 коп.
Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр,
проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 837732.
Типография издательства «Коммунист», 410002, г. Сам-
ратов, ул. Волжская, 28.



Пушкинский кабинет ИРЛИ



Пушкинский кабинет ИРЛИ